

его были не старше нас, но выглядел совсем стариком. Он очень располагал к себе своею простотой. Говорил тихим ласковым голосом. Мне он казался человеком добрым и умудрённым жизнью. Когда заканчивались летние и осенние работы в огороде, на сенокосе и в поле, отец Антоний Нещерет очень часто бывал у нас, брал газеты и сельскохозяйственные книги у отца, любил потолковать о всяких газетных слухах. Но больше всего любил он поиграть в карты, если оказывались компаньоны, Это очень роняло его в моих глазах, так же как и то, что за ужином отец Антоний не отказывался от наливки. Но в нём мне нравилось полное отсутствие показного благочестия и ханжества, его свободные высказывания насчёт соблюдения постов и его доброе отношение к крестьянам и их нуждам. В нём не было лицемерия, столь свойственного людям его профессии, которые, как известно, обычно “trinken heimlich Wein, und predigen öffentlich Wasser”<sup>1</sup>. Он жил, идя в ногу с передовыми течениями времени.

Спустя год-два после нашей жизни в Мостицах, когда мы проводили лето в Борках, я имел возможность близко наблюдать другого сельского священника — отца Ивана Пригоровского. Он тоже любил играть в карты и был особенно пристрастен к угощению хмельными напитками. Сельскохозяйственными работами он не увлекался, но, невзирая на свой священнический сан, любил охотиться. Приносил с собой под подрысником ружьё и, переодевшись у нас, отправлялся на охоту вместе с моими братьями. В нём не было и следа той умудрённости, простоты и доброты к людям, которые были так привлекательны в отце Нещерете, а выступали черты расчётливого карьеризма, грубого своекорыстия и лицемерного, показного благочестия.

Я помню замечательно милую матушку — жену отца Ивана, погружённую в заботы о своих многочисленных детях и очень много терпевшую от грубого, требовательного мужа, не умевшего делить заботы и труды со своей женой. В годы семинарской жизни — в семидесятые годы — он был, как будто, даже захвачен нередкими в те времена отзвуками свободомыслия и народолюбия. Но очень скоро после получения прихода у него, по существу, выветрился весь налёт семинарского свободомыслия и свободолюбия (кроме любви к выпивке и охоте), а распустились задатки и стремления к доходному приходу и карьере.

## Учёба в Нежинской гимназии (1881–1889)

Когда от немногих ученических годов в Козелецком училище, ярко окрашенных незабываемыми впечатлениями от общения с Никифором Ивановичем Лукьяновичем, я пытаюсь перейти к гимназическим годам в Нежине, для меня является полной неожиданностью отсутствие в моей памяти отчётливых воспоминаний о последовательных этапах жизни при прохождении гимназического курса из класса в класс. Совершенно выпали из памяти первые дни учебы в гимназии. Не могу вспомнить, как проходили приём-

---

<sup>1</sup> Пей украдкой вино, а гласно проповедай воду (с нем.)

ные экзамены, как завязались первые знакомства и дружба с товарищами по классу. Вспоминаю о более поздних этапах общения с товарищами, когда через несколько месяцев к нам по воскресеньям приходили несколько одноклассников. Желая занять их, я показывал наши коллекции бабочек, яиц, минералов и всякого рода окаменелостей. При этом, говоря об ископаемых меловой и юрской формаций, наиболее распространённых в Черниговской губернии, я вскользь сказал, что геологический возраст соответственных пластов земной коры измеряется многими сотнями миллионов лет. Не в пример ученикам городского училища, гимназисты были изумлены таким богохульным сообщением, так как, ведь, от сотворения Господом Богом мира прошли не миллионы, а всего менее семи тысяч лет! На ближайшем уроке Закона Божьего один из моих воскресных гостей обратился с вопросом к законоучителю, отцу Хайнацкому, допустимо ли думать, что земля существует не шесть тысяч лет, а много миллионов? Мне было строго указано, чтобы я не вносил сомнения в умы верующих.

Однако уже в эти первые месяцы у нас установилась тесная дружба с одним оригинальным и своеобразным учеником нашего класса — Вячеславом Галякой. Он жил в соседнем доме. Его отец, выглядевший стариком, был всегда угрюм и неприветлив. Он служил старшим акцизным чиновником. Мать же, напротив, казалась совсем молодой. Эта цветущая приветливая женщина была всегда ласкова и гостеприимна. Она уделяла много внимания воспитанию Вячеслава, старалась развивать в нем самостоятельный характер, трудовые навыки, отвращение ко всякому чванству. Она была сестрой известного революционера Дебагария Мокриевича. Вячеслав во всем своем облике имел много общего с матерью. Под её влиянием он пристрастился к чтению, к самостоятельному поиску ответов в понимании окружающей жизни.

Оставаясь у нас до поздней ночи, Вячеслав с увлечением читал наши книги по естествознанию. Иногда он приносил свои книги и журнал «Свет», в котором печатались популярные статьи о мироздании и по естественным наукам.

В отличие от духа взаимной трудовой связи и дружественной поддержки, который был в городском училище, в гимназии в низших классах на переменах господствовал дикий хаос драк, шума и нападений друг на друга. Когда я по привычке к классу, я стал горячо убеждать не обижать более слабых, не нападать исподтишка и не терять в драках человеческого образа. Мне за эти мои уговаривания немало доставалось, но поскольку я никогда не обращался «к начальству», то есть к надзирателю или учителям, а взывал только к собственной совести и разуму драчунов, крикунов и подстрекателей, то мало-помалу меня стали слушаться.

Большим для меня огорчением бывало, когда в драку втягивали Вячеслава. Он был чувствителен ко всякой неправде, несправедливости и насилию над ним. Он приходил в состояние возбуждения, совершенно не помнил себя и, не взирая ни на какие удары, дрался до победного конца, даже когда в классе появлялся надзиратель. Уговоры и слова на него тогда не действовали. Они просто в эти минуты до него не доходили. Потом мне бывало очень его жалко, когда ему приходилось возвращаться домой с синяками.

Дружба и всё углублявшееся сближение с Вячеславом — главное, что осталось в памяти от первого класса. Да, пожалуй, ещё картины кулачных боев, которые происходили в конце Лицейской улицы у её соединения с Мегерской Слободой. Начинались бои, обычно, с выкриков мальчишек «Пошёл!», с которыми они появлялись с отдаленного конца Мегерки. Против них выступали группы мальчишек с другого конца слободы. От воинственных криков дело доходило до боя. Для подмоги собирались подростки, поперёк улицы образовывались живые стены, с криками надвигавшиеся друг на друга. Свою сторону бросались поддержать выскакивающие из ворот «скрынники». На другой стороне на подмогу бежали «бондари» и «гончары». Разгорался кулачный бой, затягивавшийся порой до поздней ночи. Бывали при этом случаи очень тяжёлых телесных повреждений: выбитый глаз, вывихнутая рука, переломы костей и пр. Не раз для прекращения боя приезжала пожарная команда, разгонявшая пришедших в азарт кулачников сильными струями воды из пожарных насосов. Это были последние годы кулачных боев. Когда я учился в последних классах гимназии, их уже не было.

Культурным центром, сложившимся в Нежине в связи с находившимся в нем «Лицеем князя Безбородко» — юридическим факультетом и лицейской гимназией — была площадь и улица с собственной библиотекой, женской гимназией, духовным училищем и несколькими магазинами. Эта главная улица носила название «Мостовой», так как только на ней была мостовая, да и то деревянная, в виде помоста из пластин, покрывавших проезжую часть. Но основную часть населения Нежина составляли имевшие свою «цеховую» организацию ремесленники. В действительности, это были работавшие не на заказ, а для сбыта на рынке, для продажи на всех украинских ярмарках мастера-кустари: «скрынники», бондари, гончары, сапожники. Свою продукцию — сундуки (скрыни) для приданого, бочки (дежи) для теста, бочонки для соления огурцов и квашения капусты и прочие бондарные изделия, гончарную посуду, сапоги — они сбывали скупщикам, а отчасти и сами вывозили на ярмарки. Вот эти-то ремесленники и кустари, жители обширных нежинских «концов», и составляли основную массу участников уличных кулачных боев как отзвук уходящего в предание старого уклада жизни.

Более прочные и яркие воспоминания остались у меня от второго и третьего года гимназической жизни. Кончились благополучно переходные экзамены в июне 1882 г. из первого во второй класс. Как и во все последующие годы учения, я перешёл с наградой, перешёл и Серёжа. Мы спешно собирались ехать на каникулы в Мостищи. Нужно было организовать переезд с наименьшими затратами. Благодаря тому, что нежинские «скрыни» вывозились на все ярмарки, в том числе в Козелец и Остёр, нашей матери без труда удалось найти возчика, хорошо знающего дорогу. Ещё с вечера к нам во двор приехал вместительный воз, запряжённый одной лошадью. С вечера уложили мы в него свои вещи, устроили из постельных принадлежностей удобные сиденья для матери и для себя. Мать заботливо готовила в путь продовольствие. Задолго до рассвета мы выехали из города, восход солнца встречали уже в поле. День был тёплый, летний. Дорога местами

была тяжёлая, песчаная, и чтобы облегчить лошадь, вместе с возницей вставали и мы с братом, и шли пешком одну-две версты. Мы успевали, забегая вперёд, посмотреть посевы, зайти в придорожные заросли, луга. После полудня была для корма и отдыха лошади сделана передышка. Четыре-пять часов простояли. Мы с Серёжей успели побывать в ближайшей деревне, разузнать о дальнейшей дороге.

После обеда путешествие продолжалось по степной местности до позднего вечера. На ночлег остановились на широкой обочине дороги у небольшой берёзовой заросли. Спали на сене в телеге и возле неё, закутавшись одеялами, без удобств, но с таким удовольствием, с каким не спят в самых лучших постелях.

Утром путь лежал через окраину берёзового леса. Недалеко на раскорчёванных участках виднелись две-три хаты новосёлов. За несколько вёрст до Мостищ мы проехали через растянувшуюся вдоль дороги деревню Корниеву, где жил знакомый по фамилии Корниев. Мы заехали к нему напоить и покормить коня. Хозяин был очень гостеприимен. Любитель-пчеловод, он славился своей пасекой, и хотя для взятия из ульев сот было ещё не время, он всё-таки вырезал ножом большой кусок сотов, полных мёдом, и в деревянных «ночовках» принёс нам это лучшее из всех земных угощений.

Два месяца каникул пролетели неуловимо быстро. Частые прогулки за грибами, цветами и ягодами теперь были для нас ещё интереснее, потому что к нам часто присоединялись сёстры и их новые знакомые Шиловы — дочери главного лесничего Шило. Бывали у нас также отец Антоний Нещерет с дочерьми и сыном. Священник много рассказывал о жизни, нуждах и горестях многих своих прихожан. Приход его был бедный и, чтобы прокормиться Нещереты вели своё хозяйство. Сын его был значительно старше нас по возрасту, учился в духовной семинарии, но хотел перейти из неё в гимназию или в учительскую семинарию. Прежде неразлучный со мной брат Сергей теперь уже часто уходил один или со старшим братом на охоту.

После каникул мы поселились с матерью и сёстрами на другой квартире в Нежине. Второй год учёбы в гимназии памятен мне перенесённой тяжёлой скарлатиной. Насколько я теперь понимаю, у меня, как следствие скарлатины, было нервное заболевание. Ночью я просыпался в мучительном состоянии, в предчувствии чего-то невыносимо страшного. От головной боли и какого-то горящего огненного шара, ослеплявшего меня, я плакал и кричал и не сразу приходил в себя. Такое состояние повторилось два-три раза, но ужас перед возможностью повторения его долго не оставлял меня. Но на моих успехах в учёбе после выздоровления это не отразилось.

Вследствие тяжёлого материального положения отца из-за неурожайного года обстановка нашей жизни в этом году была особенно безотраднa. Мать вынуждена была сдать мало подходящим жильцам большую часть квартиры, а мы ютились в одной комнате с сестрами.

Неизгладимо угнетающее, мрачное воспоминание осталось у меня именно от этого года жизни в Нежине из-за затяжного, длительного процесса внутреннего переживания чувства и сознания бесцельности жизни, отсутствия смысла её и значения. С особой силой и остротой это состояние

овладело мною в апреле–мае 1882 г. в связи с самоубийством исключённого из гимназии молодого человека Гойденко, нашего соседа по квартире.

В весенние месяцы, когда освободившаяся от снега земля ещё не покрыта густыми порослями свежей зелени, а весеннее жаркое солнце разогревает засохшие мёртвые остатки прошлогодних трав, и лёгкие ласкающие порывы весеннего ветра срывают с земли и шелестят сухими листьями, когда очнувшиеся после зимнего сна шмели вяло перелетают в тщетных поисках цветов, я всегда, сколько себя помню, подпадал под неопределённое тоскливое, унылое настроение. А тут вдруг — выстрел за соседними кустами в саду. Я увидел первый раз в жизни бездыханный труп человека, за минуту перед тем бывшего живым, мечтавшим, полным сил и стремлений. Этот вид ошеломил меня. От мыслей, от желаний и разочарований, от всего, что составляло жизнь этого человека, в одно мгновение не осталось ничего! Зачем же все стремления, познание, настойчивость, вся мучительная борьба, если от всего этого не остаётся ничего, если всё это разлетается бесследно, как засохшие листья? Зачем жить, когда раскрывшаяся перед моим сознанием пустота поглотила весь смысл, всякую цель существования? На долгий срок мною овладело какое-то внутреннее оцепенение. Отлетело всякое желание делиться своими внутренними переживаниями с другими. Автоматически ходил я на экзамены, встречался с товарищами, избегая разговоров с ними.

Затем наступили каникулы. Проходили летние месяцы, но внутреннее мое состояние всё еще было сосредоточено на основном переживании — зачем жить, зачем обогащать себя знаниями, когда ни для меня, ни для других эти знания не могут устранить бесцельности жизни, отсутствия смысла в ней...

Только осенью, уже в третьем классе гимназии, ко мне вернулась радость жизни, радость встречи с друзьями — Галякой и Левицким, но никогда никому из них я не говорил о пережитом мрачном угнетении, о потере воли к жизни и мыслях о бесцельности её, о мыслях покончить с жизнью. В моем сознании преодоление этого состояния вылилось в примиряющую формулу: жизнь преходяща, но у каждого вызывает она стремление к радости, борьбу против горя, окружающим хочется жить так же, как мне. Я должен поэтому все свои силы, все знания отдать на борьбу с человеческим горем.

Вся ранняя жизнь моя протекала вне города, на хуторах, у опушек леса и среди нескончаемых полей, в условиях сельскохозяйственного уклада жизни, среди совершенно ясных по своим смыслу и значению повседневных работ в поле или огороде, в саду или лесу, на лугу или гумне. Отрыв от этой ясной сельской жизни и переход к жизни в городских условиях тяжело переживались мною и порождали некоторое высокомерно-пренебрежительное отношение к горожанам, не понимающим самых элементарных вопросов настоящей трудовой жизни. Горожане не знали, когда и как пахать, откуда берутся хлеб, крупа. С другой стороны, переход к городской жизни вызывал всё обостряющуюся тоску по лугам и полям, по простору сельских далей, по звукам, по голосу жизни природы.

Вместе с братом Сергеем, учившимся со мною в одном классе с первого по четвёртый класс, мы часто уходили после уроков за город, чтобы ловить

сеткой перепелов, собирать коллекции яиц диких птиц весной, ловить насекомых и собирать растения для гербария. Не унаследованная, а естественно усвоенная с раннего детства от отца и старшей сестры привычка и умение приручать и выращивать диких животных, была постоянным источником больших радостей и ещё больших огорчений, когда прирученные питомцы погибали. Помню, будучи уже в четвёртом классе, ранней весной мы достали ещё совсем голого птенца арктической совы, залетающей зимой и в Черниговскую губернию и в феврале-марте выводящей птенцов, чтобы на лето с выросшими птенцами перелетать на север. Я с большим трудом выкормил совёнка. Выросла огромная белая птица (*Nyctea nivea*), привязавшаяся ко мне. Она жила во дворе в сарае, но когда мы приходили из гимназии, летела навстречу, садилась ко мне на плечо, оставалась в комнате до утра, с лёгкостью бесшумно перелетая со стола на голову и на другие предметы. Эта сова вызывала всеобщее изумление. Она нападала на собак, боявшихся её и убежавших при её появлении. От собак она и погибла, прожив больше года.

Каждый год с ранней осени непреодолимо было желание уйти в поле послушать первого жаворонка. И во всю последующую жизнь с пением жаворонка пробуждаются и оживают у меня в душе старые гимназические переживания. Точно из-под спуда, из-под многолетних накоплений внутренних обломков и руин, рождаются всякий раз при первом весеннем жаворонке отзвуки и воспоминания о падающих с далекой небесной синевы переливах жаворонка, такие же, как и много, много лет назад. Вот в памяти всплывает одна из ежегодно повторявшихся первых весенних прогулок подальше от города, на простор привольной природы. Солнце парит, хотя на поле ещё кое-где лежат полосы снега. Я и инженер Бакун за городом отдаёмся, каждый по-своему, наслаждению пробуждающейся природой. Это весна 1885 года, пятый класс гимназии. Песня жаворонка, не прерываясь, составляет общий звуковой фон природного единства в самых контрастно-несогласуемых, казалось бы, проявлениях. Обывательски обычный, но в то же время загадочный ещё тогда для меня тип инспектора по сахарным заводам, инженер-технолог Бакун. И рядом — я. Бесконечно далёкий от всякой обыденности, безмерно высоко стоящий в собственном самосознании над обывательским существованием, над всем затхлым и ничтожным прозябанием, интенсивно отдававшийся строительству нового человека, — таким был я в то время, полный напряжённой внутренней борьбы. Полная противоположность, казалось бы, немолодому, уравновешенному и спокойному Бакуну. Но нас что-то сближало в те весенние прогулки за городом, когда с высоты лился тёплый яркий солнечный свет и с ним переплетались ласкающие беззаботные переливы жаворонка. Это не была дружба. Не было взаимно нас связывающего единства волевых устремлений. Но было своеобразное, из глубины звучавшее единство ощущения радости от пробуждавшейся после зимних оков природы, начинавших кое-где зеленеть былинки, просачивавшейся из-под зимнего снега по оттаявшим бороздкам воды.

На смену этому воспоминанию произвольно всплывает без хронологической связи другое. Это было тоже немало лет тому назад. Ранняя весна

в Попенках. Я выслан из Москвы под гласный надзор полиции. Первый по-настоящему тяжелый жизненный удар. Но я не забыт товарищами по беде. Письма от Полещука. Я стою у ещё не зазеленевшей акациевой изгороди и смотрю из сада в простор расстилающегося за дорогой поля. А настроение складывается под согревающим ярким весенним солнцем, под падающими с неба такими родными, неизменно вызывающими чувство беззаботности, переливами жаворонка.

Густенька каша, але ж каша та не наша,

А нам дистався кулиш, як хочешь, так его и ишь.

Так переживал первое наше крушение немолодой уже Полещук. Так писал он мне в Попенки в период изгнания. А жаворонок без горечи, без омрачающих предчувствий убедительно напевал, навевая вместе с солнцем другие настроения...

Так оживающие звуки пения жаворонка в связи с воспоминаниями о первых весенних прогулках в далёкие гимназические годы будят давно забытые, когда-то волновавшие события. А теперь эти звуки рождают желание оживить, вернуть ушедшее. Как-то само собою явилось это отступление, как яркое свидетельство того, что наша память хранит отзвуки прошлого, не связывая их хронологически.

Возвращаюсь к прерванной нити рассказа о гимназических годах. С третьего класса в наш тесный дружеский круг вошел Константин Левицкий. Его старший брат был уже в одном из старших классов. Ученики этих классов казались нам уже вполне взрослыми, замечательно образованными, умными и значительными людьми. Не то, что опустившиеся и погрязшие в тине мелкой обывательской суеты некоторые наши учителя, задававшие нам уроки «от сих до сих». Невзирая на то, что Константин Левицкий был совсем другого склада, чем я и Галяка, дружба нашей тройки крепла. Левицкий не был прямолинейным ригористом, он, кажется, даже курил, но, как и мы, был чужд всяких мещанских предрассудков, отличался свободомыслием.

Но главное, что нас особенно подкупало, он сам много читал, и через него можно было получить те книги, которые читали импонировавшие нам товарищи его старшего брата — Смольский, Лукашевич, Алферов, имевшие вид совершенно взрослых людей. Левицкий был католик и поэтому освобожден от обязательного присутствия на уроках Закона Божьего и зубуривания Катехизиса, над которым чрезвычайно вольнодумно издевался. Помню, Костик, как мы его звали, возвратясь после летних каникул из Белополья, где жила его семья, много рассказывал о толстовской колонии, основанной князем Хилковым и его женой для трудовой жизни высокоинтеллигентных людей, последовательно и полностью отказавшихся от всяких привилегий и попытавшихся устроить свое существование в полном согласии и соответствии со своими убеждениями о равенстве людей и требованием отказа от эксплуатации трудящихся. Как известно, вскоре потом эта толстовская колония была ликвидирована, по приказу царя у князя Хилкова были отняты дети и отданы на воспитание опекунам из высшего дворянства.

Долго и упорно держалось у меня в Нежине весьма скептическое отношение к жителям города, ко всему содержанию их жизни, деятельности

и обстановке. В селе задачи, значение и смысл жизни были ясны. Нужно было своевременно вспахать или вскопать землю для того, чтобы посеять рожь или пшеницу, чечевицу или овёс, или чтобы засадить огород. Нужно было затем собрать жатву, потом обмолотить и свезти на мельницу. Нужно было обеспечить запасы кормов для коров и лошадей, для питания людей в течение всего года. Ясно было, что если не засеять и не убрать вовремя лен или коноплю, то не будет волокна для полотна на простыни, на «рядна». Все это было делом не шуточным, а необходимым, жизненно важным. А в городе люди ни хлеба, ни кормов не выращивали, коров и овец не содержали. Они не жили трудами рук своих, а были либо чиновниками во всяких канцеляриях, опутывавших жизнь никому не нужными бумагами, либо торговали, перепродавая то, что было не ими произведено, и наживаясь при этом.

На почве этих моих настроений я с глубоким интересом читал брошюры Л. Н. Толстого о необходимости жить трудами рук своих. У меня даже сложился и держался года два (третий и четвёртый класс) план — не в качестве общественной программы, а для себя лично — в будущем, по окончании гимназии, жить «трусами рук своих», обрабатывая небольшой участок — не более четырёх десятин (5,8 га) — без наёмного труда; быть примером для других, работая среди народа, вместе с народом, поднимая уровень знаний и культуры населения, пробуждая в людях сознание своего достоинства и гражданских прав. Я собирался обходиться без наёмного труда для обслуживания самого себя, не отговариваться тем, что иначе невозможно заниматься наукой и быть проводником культуры и научных знаний среди населения.

В короткий период пребывания в Козелецком училище при всём увлечении в летний период прогулками в лес и собиранием коллекций и том огромном интересе, который вызывали у нас работы в саду, в поле или в клуне, в конце лета мы хотели поскорее вернуться в училище, чтобы заниматься выполнением всегда интересных для нас заданий Никифора Ивановича, показать ему собранные за лето пополнения коллекций, узнать от него обо всём, что показалось непонятным летом. В течение же всего гимназического периода ни у меня, ни у Серёжи никогда, ни одного раза за все каникулы, не появлялось желания вернуться в Нежин, поскорее узнать, что будем проходить в следующем классе. Учение в гимназии было отбыванием обязательной повинности. Поэтому всё чаще по утрам, а то и среди дня приходила омрачавшая настроение мысль, что скоро придётся собираться к отъезду. Вот уже пришло жниво, с полей свозят полукопки, а в клуне гудит конная молотилка. Давно уже скошена трава на сырых лугах. Мы любили тогда по просохшему лугу бежать к обмелевшей за лето реке. На лугу в кочковатой мшистой земле мы находили гнезда небольших желтобрюхих шмелей. Несмотря на риск быть покусанными ими, мы разрывали гнездо, захватывали грозди сот, а на гнездо набрасывали сено. Отбежав подальше, мы находили среди сот ячейки, наполненные прозрачным мёдом, которым мы и лакомились. Шмелиный мёд, а для Серёжи — охота за дупелями на том же лугу или на капустных посадках — это уже преддверие конца каникул. И с тягостным чувством, а вовсе не с желанием начинались сборы к отъезду.

Большим огорчением для меня была неудача Сергея на экзаменах при переходе из четвёртого в пятый класс. Он был оставлен на второй год в четвёртом классе.

Лето 1884 года мы проводили уже не в Мостищах, а в Борках, куда вернулся на прежнюю работу отец. Это лето было для меня очень тяжёлым. В самом начале каникул я заболел брюшным тифом. Болел очень долго. Несколько раз из Козельца привозили доктора Гольдвуха. Самым мучительным, не изгладившимся до сих пор в памяти, были завертывания в холодные (ледяные) простыни. К концу болезни образовались пролежни, заживление которых особенно затянулось. Вполне оправился я только к концу каникул. Никогда не забыть мне ласки, слёз и самоотверженного ухода за мной моей матери.

Всё, чему мы обучались в гимназии до пятого класса — латинский и греческий языки, их этимология и синтаксис, стихосложение, история по Иловайскому и Беллярминову, Закон Божий с заучиванием на память всего Катехизиса, даже арифметика и алгебра — всё было оторвано от жизни, всё не имело никакого отношения к познанию окружающего мира, к пониманию и истолкованию явлений, возбуждавших любознательность и требовавших ответа. В качестве обоснования и оправдания огромных усилий и трудов, которые на уроках и дома затрачивались на заучивание всего этого мёртвого, не нужного для применения в жизни материала, выдвигался, и до известной степени принимался нами тезис о том, что классические языки, как и алгебра, своим логическим построением, своею законченностью, служат незаменимой школой для развития умственных способностей к последовательному познанию, что это система упражнений, необходимых для развития и укрепления памяти. Как для развития физических сил, для придания телу гармонической соразмерности и красоты нужны занятия гимнастикой, нужны физические упражнения, так для формирования умственных сил, для выработки и развития способностей к умственному труду необходима длительная умственная гимнастика, которую является вся система классического образования. Но, увы! Лживость всего этого рассуждения была для нас совершенно очевидна. Мы видели и на себе испытывали, как вянет в гимназии живая любознательность, как заменяется тупым зазубриванием заданных уроков настойчивое стремление понять, раскрыть причины и связь явлений. Только в пятом классе явилась отдушина в системе обучения мёртвым предметам, когда в программе некоторое, хотя и очень скромное место было отведено физике. Появившийся в гимназии новый учитель Винклер, из прибалтийских немцев, занялся приведением в порядок физического кабинета. На уроки приносил приборы. Некоторые ученики старались помогать ему, и, чтобы лучше понять приборы, особенно по разделу электричества, стали читать не только учебники, но и приобретаемую нами самими литературу и пособия.

У моего брата возникла мысль устраивать простейшие приборы своими силами. Первым таким прибором был электрофор. На базаре мы купили несколько фунтов твёрдой смолы «пека», добавили к ней канифоли, всё это растопили и вылили в старое решето. Затем вырезали по размерам решета картонный круг, обклеили его оловянными листами и подвесили его

на шелковых нитках. Смолу натирали сухой суконкой, затем прикладывали круг. Мы вызывали восторг окружающих, извлекая из круга искры. Следующим шагом было изготовление лейденской банки. Большая банка из-под варенья была оклеена изнутри серебряной фольгой, наполнена охотничьей дробью. Кондуктором служила вставленная в дробь столовая ложка. Банка заряжалась электричеством от самодельного электрофора. Разряды получались более сильные, дававшие очень значительное ощущение в локтях. Потом были изготовлены самодельные элементы для постоянного тока. К этому времени уже образовался целый кружок для занятий опытной физикой и для простейших опытов по химии. В него входили человек восемь из нашего класса, впрочем, двое-трое были и из четвёртого, из числа тех, кому мы давали книги для чтения. У нас уже тогда были библиотечка с такими книгами, которых из гимназической библиотеки не выдавали — Писарев, повести Шеллера (псевд. — Михайлов), Оммулевского, роман Чернышевского «Что делать?» и др.

Все собрания кружка и опыты происходили у нас на квартире. Тогда мы с матерью жили на окраине города. После перехода в шестой класс, когда отец вернулся на место управляющего имением в Борках, где ему была отведена соответственная квартира, мы перешли на «общую квартиру» в пансионе Добрянницкой. Я был назначен старшим этой квартиры.

Книги нашего кружка хранились у Галяки, а случайно оставшиеся у нас на ночь прятались от взора надзирателя, систематически посещавшего квартиру. У меня был простой и надёжный способ: книги перевязывались, обертывались старой клеенкой и спускались через окно на веревке. Окно выходило в старый запущенный сад. Однажды, вне всякого нашего предвидения, вместо надзирателя поздно вечером ночной дозор совершал тогдашний наш классный наставник учитель истории Сребницкий. Все было благополучно. Однако никому из нас не пришло в голову спрятать наш самодельный электрофор. Среди книг, подвергшихся подробному осмотру, оказался общеизвестный учебник ботаники Любена, а в ящике стола моего брата было обнаружено изданное в 60-х годах с благословения Священного Синода Евангелие на украинском языке. Всегда серьёзный, благоволивший ко мне за хорошие ответы Сребницкий внушительно заметил мне, чтобы ни Любена, ни Евангелия в «общей квартире» не было. «Это может угрожать исключением из гимназии», — сказал он мне, понизив голос.

Посещение Сребницкого, как выяснилось вскоре, имело спасительные последствия. Неожиданно из учебного округа из Киева приехал с особым поручением член Наблюдательного Совета по ограждению гимназий от проникновения тлетворных влияний. Вслед за Сребницким явился наш надзиратель в сопровождении ревизора, который тщательно просмотрел книги на полках и столах каждого из двух десятков обитателей нашей общей квартиры. Разумеется, ни Евангелия, ни учебника ботаники, ни вообще каких-либо книг с намеками на вольнодумство он не обнаружил. Электрофор не ускользнул от его внимания. Он в очень дружелюбном тоне беседовал с учениками о прочитанных ими книгах и из этой беседы, конечно, мог убедиться в исключительной благонадёжности учеников, которые никаких книг, кроме Державина и Карамзина, и в крайнем пределе Жуковского,

Пушкина и Гоголя, не читали и даже не слышали о всяких тлетворных писателях. В заключение высокое начальство побеседовало запросто со мною и очень одобрительно отнеслось к господствующему среди учеников общему интересу к классикам — Овидию, Гомеру и к нашим поэтам Жуковскому и Державину. Даже электрофор не вызвал особого нареkania. Я рассказал, насколько его устройство облегчило пятиклассникам подготовку к урокам по физике. Таким образом, приезд «ревизора» обошёлся благополучно.

Но, вернувшись из гимназии после его отъезда, мы узнали, что приходил надзиратель со сторожем и по приказу директора унесли злосчастный электрофор. На следующий день меня вызвали к директору Скворцову. Это уже было более чем плохо. Электрофор стоял на столе. Без всяких предисловий директор в упор ставит вопрос: «Кому пришла мысль, и кто изготовил эту штуку?» С полным простодушием, как особую заслугу, я приписал себе счастливую мысль помочь отстающим по физике двум ученикам в нашей квартире с помощью электрофора. В результате директор внушительно распорядился, чтобы впредь никаких приборов и опытов в квартире не делать. Все, что нужно, есть в физическом кабинете, куда будет сдан и наш электрофор. «Смотри же и пойми, что этого допустить нельзя! Сегодня электрофор, завтра — взрывчатые вещества, а потом и бомбы! Невинная, на первый взгляд, затея с электрофором — это первая ступень к виселице». Страшен сон, да милостив Бог. Невзирая на такой устрашающий конец беседы, директор милостиво отпустил меня.

Если бы нужно было одним штрихом охарактеризовать отношения между учащимися и преподавателями в Нежинской гимназии периода 80-х годов, то можно было бы сказать, что это были отношения двух враждующих сторон, двух лагерей, находящихся в постоянной непримиримой войне между собой. Всё начальство, сверху донизу, от директора, инспектора и классного наставника до любого учителя и надзирателя было объединено заботами не о наших успехах в науках, не об улучшении преподавания, а о том, чтобы лучше выследить и предать учащихся, выслужиться перед директором доносом. На улицах учитель подмечал, кто из учеников нарушил форму, не так поклонился, гулял в неурочный час, и всё это доносил директору. За всё это накладывались взыскания. Любые признаки вольнодумства, чтение недозволенных книг, если только об этом узнавал учитель, доводились до сведения начальства, а это могло привести к изгнанию из школы.

Ученики платили учителям и гимназическому начальству ответными военными действиями. Необходимость самозащиты объединяла их, вырабатывалось чувство круговой поруки.

Иногда в этой мрачной картине непримиримой враждебности пробиwался луч дружественного сотрудинчества. Но всегда такое нарушение общего положения заканчивалось возвратом к состоянию войны. Особенно ярким примером были наши отношения к «физику» — Якову Эрнестовичу Винклеру. Казалось, что он интересуется знанием. И мы, ученики, стремились помогать ему в физическом кабинете, в классе родилось соревнование в решении самых трудных задач по геометрии, например, Аппелониевых задач на геометрические построения сложных алгебраических выражений и пр. Когда (сколько помню, это было в октябре 1885 г.) поздно вечером и

ночью произошло величественное явление «звёздного дождя», мы побежали к Винклеру на квартиру, чтобы разбудить его и пригласить понаблюдать за этим явлением и облегчить нам его понимание. У Якова Эрнестовича появились среди учеников преданные друзья. В нашем классе таким стал Тимофей Локоть. Это был очень начитанный, вдумчивый, самостоятельный юноша. Винклер приглашал его к себе. Дружба была длительная. Естественно, беседы велись вполне откровенные. Каково же было изумление Локотя, когда он вдруг был вызван к директору. Ему угрожало исключение за чтение Чернышевского и Писарева и за атеистические высказывания в разговорах с Винклером. Глубоко возмущённый Локоть пришел на урок физика. Я помню тяжелую сцену: Локоть перед всем классом поставил Винклеру вопрос: «Вы донесли на меня директору?» — и затем громко и внятно, в упор заявил покрасневшему и смущённому учителю: «Яков Эрнестович, вы — подлец!»

Разумеется, Локоть был исключен из гимназии. Наше же отношение к Винклеру, который, как ни в чём не бывало, остался на своем месте, коренным образом изменилось. Это ярко проявилось в том, что в числе учителей, которым группа сильно выпивших абитуриентов побила окна года два спустя, оказался и прежний «друг» учащихся Я. Э. Винклер.

Помню, каким почтением пользовался сначала молодой талантливый учитель русского языка и словесности Белорусов, автор «Этимологии и синтаксиса русского языка». И как круто изменилось отношение к нему, когда он окончательно обнаружил себя как заурядный член гимназического начальства. То же было и с новым учителем немецкого языка, назначенным после смерти швейцарца Гришота, плохо говорившего по-русски и совершенно бесплодно, в смысле овладения нами немецким языком, ведшего упорную борьбу за дисциплину в классе. У него была привычка постоянно копаться в своих карманах в поисках носового платка. Пока он ходил по классу, ученики успевали мелом, углем, а иногда и чернилами запачкать сзади фалды его фрака, поэтому и руки его были запачканы.

Когда вместо Гришота появился стройный, крупного роста, образованный молодой учитель, только что окончивший Дерптский университет, он прекрасно овладел классом. Его филологические объяснения происхождения немецких слов, его чтение, с дополнительными замечаниями, отрывков из немецких классиков создали здоровую обстановку внимания и интереса к предмету. Он охотно отвечал на вопросы, с которыми к нему обращались. Но прошел год, другой, он вошел в учительскую среду, стал угрожать наказаниями, и мало-помалу отношение к нему класса изменилось.

Постоянные требования гимназического начальства к учителям о поддержании внешней дисциплины, о внушении ученикам необходимости беспрекословного подчинения, постоянная боязнь учителей навлечь на себя подозрение в либерализме, боязнь повредить своей карьере делали своё дело и принижали педагога до уровня гимназического учительского болота.

Мы даже в младших классах знали, чем занимаются наши учителя. Вот, к примеру, учитель русского языка Иван Николаевич Михайловский. Очень серьёзный, с окладистой бородой, обычно благожелательный человек. Вхо-

дит в класс. Мы приветствуем его вставанием. Садится за стол на кафедре и погружается в какие-то подсчёты. Если в классе кое-где появляется движение или слышится шепот, Иван Николаевич, не отрываясь от своих листов, произносит: «Спокойнее, спокойнее». Час окончен. Звонок. Иван Николаевич тщательно складывает листы, кладёт их в боковой карман и уходит. Ученики давно исследовали содержание записок, обработкой которых занимался Иван Николаевич на уроках. Это были записки карточной игры в вист или в преферанс. Игра продолжалась с вечера до утра, а на уроках Иван Николаевич был совершенно поглощён подсчётами.

Всё это может показаться теперь неправдоподобным, тем более, что Иван Николаевич был человек симпатичный, не лишённый способности отдаваться радости общения с природой. Не раз видел я его в загородной роще Войтовщине. Он ходил с сачком в руках, ловил бабочек, подолгу гулял в одиночестве. Раз он даже позвал меня к себе домой посмотреть его коллекции. Много тщательно сделанных ящичков были у него полны умело расправленными бабочками. Мне кажется, я испытывал к нему чувство симпатии. Без всякого, следовательно, предубеждения я передаю теперь совершенно точно закреплённые в памяти часы его уроков. Когда кто-либо из живших с ним по соседству учеников сообщал, что у Ивана Николаевича был картёж до утра, то вслед за этим появлялся наш учитель, усаживался за свой стол и, не вымолвив ни одного слова, уходил по окончании урока. Бывало, впрочем, что он приходил в дурном настроении. Тогда он начинал вызывать одного за другим учеников, распекал их за незнание, обрушивался с упрёками против всего класса, кричал и ставил дурные отметки.

Два-три раза в год Иван Николаевич задавал на дом тему для письменного сочинения всему классу. Работа должна была быть представлена точно в назначенный день через месяц. У меня с этим связаны очень неприятные для меня самого воспоминания. Всякий раз я давал себе слово, что своевременно, добросовестно поработаю над темой, прочту необходимые статьи и произведения. Но затем откладывал на неделю-другую. Потом мучился и терзался мыслью, что я ещё не приступал к сочинению, когда уже у большинства товарищей работа готова, они ждут только срока сдачи сочинения. В отчаянии, что дела уже не поправить, я засыпал вечером. Но так как откладывать уже было некуда, просыпался среди ночи и начинал писать. Писал я уже, разумеется, сразу «начисто», поскольку времени на переписку уже не было. К утру я перечитывал работу, с горьким сожалением, что не принимался за неё своевременно и потому не мог более просторно написать и обосновать разные разделы. К моему искреннему удивлению, те, кому я так завидовал, что они в срок взялись за работу, потом обижались, что Иван Николаевич ставит им тройки, а я мучился угрызениями совести, что я работал несколько часов в последнюю ночь и неизменно получал пятерку. Конечно, меня выручала большая начитанность, знание наизусть стихотворений очень многих поэтов, да, пожалуй, ещё и вынесенная из уроков Никифора Ивановича в городской школе привычка к самостоятельной работе мысли. Моё неумение взять себя в руки и сразу же приняться за предстоящее дело осталось у меня как крайне вредный, очень огорчающий меня недостаток на всю жизнь.

Но не один только Иван Николаевич не обращал порой внимания на учеников на уроках. Нередки были случаи, когда и уроки Закона Божьего проходили в полной тишине. Батюшка законоучитель отец Хайнацкий, он же и профессор богословия в Филологическом институте, помещавшемся в том же здании, приходил в класс, садился за кафедру и погружался на весь час в чтение принесенных с собой фолиантов и газет. Если мёртвая тишина в классе нарушалась громким смехом или вскриком забывшегося ученика, батюшка — нужно сказать, добрейший и очень справедливый человек — недовольно отрывался от своих фолиантов и крепко ругался: «Ах, вы, сукины дети, вот я перестану читать и начну вас спрашивать!» Угроза действовала, и класс погружался в глубокомысленное молчание. Мы читали взятые с собой книги, вложенные в обложки учебников, а батюшка доканчивал свою газету. Катехизис нужно было отвечать связно, включая в ответ дословно всё содержание вопроса. Обычно дело облегчалось либо умелым подсказыванием, либо — при ответах с места — хорошо разработанной системой поддерживания на спине сидящего впереди соответствующих страниц из учебника. Лично я органически не способен на роль граммофона и потому всегда полностью, без всяких, говоря по-украински, «помилок», знал на память все главы Катехизиса со всеми текстами и настойчиво просил мне при ответах не мешать. И до сих пор, восемьдесят лет спустя, не стёрлись из памяти целые главы Катехизиса.

О протоирее и настоятеле гимназической и институтской церкви отце Хайнацком мне вспоминаются наши наблюдения, когда в третьем классе при изучении раздела «богослужение» нам приходилось в качестве практического занятия присутствовать также и в алтаре. Во время проскомидии наш батюшка смотрелся в зеркало, расчёсывал гребешком бороду и в промежутках между полными благоговения возгласами посматривал в щёлку занавеса на вратах, пришла ли жена директора и её сестра, которой наш законоучитель интересовался, не особенно скрывая от нас своё чувство. В том же третьем классе он на многих уроках читал и разъяснял доказательства бесспорности существования Бога. Одно из особенно образных доказательств запало мне в память по своей очевидной непригодности. Держа в руке «Одиссею» Гомера, отец Хайнацкий говорил: «Можно ли себе вообразить, чтобы бесчисленные количества брошенных букв сами собою сложились в слова, в гексаметры, в великое произведение гениального творца «Одиссеи»? Так же невозможно мыслить себе создание всей вселенной, в которой всё так гармонично и разумно, без признания существования всемогущего Господа Бога, творца неба и земли, видимым всем и невидимым». Всеми доводами логики, то есть рационального, разумного мышления вновь и вновь доказывая необходимость веры в существование Бога, отец Хайнацкий только колебал ее. Вера, ведь, потому и вера, что она не нуждается в доказательствах от разума. И сам отец Хайнацкий наряду с попытками путём разумных доводов доказать существование Бога требовал, чтобы каждый веровал, ссылаясь на приводимый в Катехизисе текст: «Веровати подобает коемуждо (каждому) яко есть и взыскующим его мздовоздатель бывает». И после всех своих доказательств на одном из уроков он наставительно объяснил, что сама по себе попытка разумом по-

стичь Бога и обосновать веру в него уже является нечестивой. При этом он рассказал, как один из святых отцов церкви — кажется, святой Антоний — однажды поддался искушению и, прогуливаясь на берегу моря, погрузился в размышления о бытии Господа. Долго и сосредоточенно размышлял он, как вдруг обратил внимание, что у самой воды сидит старик и ложкой черпает ее из моря. Святой приблизился к нему и ласково спросил: «Что делаешь, старче?» И тот ответил: «А вот выкопал в песке ямку и хочу все море в нее перелить». «Но ведь это же невозможно: ямка мала, а море бескрайне». «А и сам ты еще более безумным делом занят, — ответил старик, — хочешь своим ограниченным разумом постигнуть бога, который безмерней всех океанов». И в ту же минуту старика не стало, а святому Антонию стало ясно, что это был сам Господь.

Совершенно наглядно можно было наблюдать, что именно настойчивое стремление подвергнуть разумному рассмотрению вопрос о существовании Бога, без всякой увязки с закономерностями природы, заставило впервые в жизни многих учеников задуматься над этим вопросом, скептически остановиться на нём.

Попутно скажу о себе, что очень рано, ещё задолго до гимназии, я проверял, правильно ли утверждение, что всё зависит от воли Божьей, и убеждался, что на деле этого нет. В четвёртом классе мне случайно попала в руки книга Ренана «Vie de Jesus» на французском языке. Я с большим интересом прочитал её, а потом для брата и Костика Левицкого, которые в то время французского не знали, перевёл и записал в нескольких тетрадях. Мы с братом, так же как и Галяка с Левицким, относились к вопросам веры и вероучений, как к изучению греческой мифологии. Я лично был вполне убеждён, что и сам наш воинственный борец за веру не принимает всерьёз гипотезу о Боге, совершенно ничего не объясняющую и не помогающую в поисках раскрытия причинных связей в явлениях природы.

Очень далекими от положительных остались у меня воспоминания об учителе греческого языка Добиаше. Мы его называли «младшим» в отличие от его старшего брата, занимавшего кафедру греческого языка в Историко-филологическом институте. Наш Добиаш был классическим образцом чрезвычайно ограниченного формалиста-бюрократа. Всё его преподавание сводилось к задаванию урока — прочитать и приготовить от сих пор и до сих пор — и в спрашивании урока. Опрос начинался требованием показать «ваше приготовление». Нужно было подать тетрадку, в которую полагалось выписать все глаголы из прочитанного отрывка со всеми их формами, затем — имена существительные и прочие слова. После проверки приготовления нужно было перевести отрывок. Следовала отметка. «Приготовление урока», т. е. выборка из словаря и русский перевод слов — это самое главное, обязательное и в младших, и в старших классах. Добиаш очень дурно говорил по-русски, но чрезвычайно любил настаивать нас на правильном пути жизни. Главные правила: 1) Старших всегда надо уважать и слушать, а начальству нужно повиноваться и в точности выполнять все его указания; 2) Необходимо быть во всем бережливым, помнить, что «копейка рубль бережет». Дальше этих нравоучений его экскурсии в область этики и философии не шли.

Латинский язык в старших классах преподавал Абрамов, занимавший в гимназии должность инспектора. Он не требовал выписывания из словаря и заучивания отдельных слов, а добивался, чтобы, читая целый отрывок, ученик понимал его смысл и из контекста, не заглядывая в словарь, доходил бы до понимания значения отдельных слов, даже если дотоле это слово ещё не встречалось. Урок его всегда был интересен, потому что обязательно нужно было внимательно и напряжённо вслушиваться в читаемый им отрывок. Очень выразительно прочитывал он одну-две страницы из Тита Ливия, Саллюстия или Цезаря, а затем предлагал кому-нибудь из учеников рассказать прочитанное на латинском же языке. Обыкновенно, если ученик не мог ничего пересказать из услышанного, ему давалось задание перечитать и перевести со словарём тот же отрывок дома и научиться передавать его содержание на латинском языке. Если ученик по усвоенной от Добиаша привычке подавал Абрамову тетрадку с выписанными незнакомыми словами, он раздражённо кидал тетрадь на пол с презрительным замечанием «мальчишество!» Бывало, после своего очень выразительного двукратного чтения он вызывал для ответа трёх-четырёх учеников, и если они не могли изложить по латыни смысл прочитанного, гневно кричал: «Столпы бессмысленные» и для успокоения вызывал меня. Так как я внимательно вслушивался и схватывал не только общий смысл, но и запоминал при этом целые предложения и характерные выражения, то он оставался вполне удовлетворённым.

Цель его состояла в том, чтобы научить понимать фразу, не переводя каждое слово на русский язык. Много позднее, в университете, и уже будучи врачом, я по этой системе овладевал иностранными языками настолько, чтобы читать специальные книги и журналы, нужные мне, не только на немецком, французском, но и на английском, итальянском, испанском, чешском и польском языках. И всегда с благодарностью вспоминал Абрамова, научившего меня этому методу. Между прочим, Абрамов не допускал, чтобы кто-либо осмелился усомниться в правильности его указаний. Помню, ещё в пятом классе после рождественского перерыва он выдавал стипендию за три месяца сразу золотыми монетами десятирублевого достоинства (из расчета 16 руб. 66 коп. в месяц). Я расписался в соответственных графах ведомости. Придя домой, пересчитал деньги. Оказалось, одна десятирублёвая монета была лишняя. Я бегом через весь город вернулся в гимназию. Запыхавшись, весь мокрый, вбежал я к Абрамову и сказал, что по ошибке он дал мне лишние 10 рублей. Абрамов сразу гневно закричал, что он не ошибается, что это я напутал. «Но у меня никаких денег не было, когда я шёл получать, а вот оказались эти деньги», — и я положил на стол 60 рублей вместо 50-ти. С недовольным видом он взял обратно 10 рублей и не очень учтиво отпустил меня: «Идите!» Он не поблагодарил меня, так как считал, что я поступил только честно и иначе поступить не мог.

В последних классах гимназии в качестве отдельного предмета преподавалась логика. Преподавал её профессор философии Историко-филологического института Маливанский. Его метод обучения был прост. К каждому уроку он задавал один параграф по учебнику логики, а затем вызывал одного за другим учеников, которые должны были рассказывать

выученное. И чем ближе к тексту отвечал ученик, тем выше была отметка. Двоек ставил он много. Помню, в начале одного урока мой одноклассник Ильченко обратился к Маливанскому с просьбой не спрашивать его, так как у него очень болит голова. Профессор ответил, что логика не имеет никакого отношения к телу человека или к частям тела. По законам логики мыслит душа. Поэтому он стал мучить Ильченко вопросами и, в конце концов, поставил ему двойку.

Живо встаёт в моей памяти учитель истории Сребницкий. Невысокого роста, с умным, всегда несколько напряжённым раскрасневшимся лицом, он редко улыбался, сохраняя ровное, серьёзное выражение лица. Деловито входил в класс и никогда не занимался на уроках посторонними делами. Конечно, уроки по истории нужно было готовить по учебникам Иловайского и Белярминова. Но Сребницкий не ограничивался только задаванием и опрашиванием уроков. На каждом занятии он вызывал для ответа по пройденному или по очередному уроку одного-двух учеников и ставил им после тщательного опроса оценку за всю четверть. Меня он спрашивал редко, не более одного раза в четверть или даже за целое полугодие, доверяя моим знаниям. Он знал, что я много читаю по истории, в чём он мог убедиться, когда, отвечая, я выходил за рамки учебников и рассказывал, умалчивая об источнике, о Фридрихе Барбароссе, о Средневековье или о гуманистах по Писареву.

У нас в доме, в книжном шкафу отца была многотомная история России Соловьева. Её я в разное время читал том за томом и потом, благодаря не раз выручавшей меня памяти, отвечал Сребницкому значительно полнее, чем по учебнику. Второй половиной урока Сребницкий пользовался для изложения следующей темы. Видно было, что он готовится к урокам, и его изложение всегда было интересным и ни в какой мере не состояло только из материала учебника. Однако он был далёк от освещения социальных и экономических изменений в исторической перспективе, а движущие силы в истории видел только в политических задачах, которые выдвигались крупными государствами в борьбе между собой. Политические задачи, осуществление которых преемственно велось от Ивана Калиты до среднеазиатских завоеваний Александра II, — это всё была одна и та же сила движения в сторону раздвигания пределов России от Балтийского и Черного морей до Северного Ледовитого и Тихого океанов. И я вспоминаю, как эта доминирующая идея расширения, экспансии государства подсознательно передавалась ученикам и как при рассмотрении карты Европы и Азии неизменно высказывались затаённые пожелания еще больше расширить пределы нашей страны.

В первую половину моего пребывания в Нежинской гимназии её директором был Мейков, в парадные дни являвшийся в гимназическую церковь в генеральской форме: в белых брюках и в расшитом мундире с широкой голубой лентой через плечо и крупной звездой на груди. Я не помню его имени и отчества: среди гимназистов они хождения не имели, а заменялись общепризнанным выразительным прозвищем «Мамай». От директора ничего другого никогда нельзя было ждать, кроме Мамаева побоища.

Гимназический день начинался общей молитвой. По звонку все учащиеся и все начальство собирались в большой зал, не в Актовый, открывав-

шийся лишь в редких случаях — на первый день Пасхи и на годовом акте. Непосредственно перед звонком на молитву по всем коридорам проносился Мамай, сопровождаемый экзекутором. Они заглядывали в каждый класс и обязательно заходили в умывальную и уборную. Он не проходил, а именно проносился, как карающая десница Юпитера. И горе было всякому попавшемуся на его пути с явным «*corpus delicti*»<sup>1</sup> — с нарушением формы или с курительными принадлежностями, которые не были своевременно укрыты или замаскированы. Фамилия записывалась экзекутором в список жертв Мамаева побоища за данный день. Наказаниями были либо карцер, либо даже исключение. Лента и белые штаны в торжественные дни, да объявление списка жертв ежедневного побоища — это всё, что запечатлелось в памяти за четыре года директорства Мейкова-Мамая, получившего вместе с чином тайного советника более высокое назначение. От нас он был переведён в Варшаву попечителем учебного округа.

Помощником директора был ненавистный всем Химера, всегда носивший мундирный фрак, человек с густой коротко остриженной бородой, говоривший ровным, тихим, гнусавым голосом. Среди гимназистов он не имел другого имени, кроме «Химеры», не удивительно, что я не помню его фамилии. Он донимал провинившихся своими тихими змеиными допросами и нудными нотациями. Таким же инквизиторским тоном вёл он и преподавание на своих уроках классических языков. Он занимал квартиру в первом этаже монументального здания нашей «гимназии князя Безбородко», выходящую на лестницу, по которой мы поднимались в гимназию, помещавшуюся во втором этаже. Всегда было желание, как бы не встретиться с Химерой, со змеиными его глазами. Главный его интерес и внимание всегда были направлены на то, чтобы подловить или выследить какие-либо признаки вольнодумства, свободомыслия, раскрыть крамолу. Его боялись, как следует бояться притаившейся змеи.

Нежинская гимназия, рассчитанная на 200–300 «своекоштных» учеников, помещалась во втором этаже «дома Безбородко», а третий этаж занимал Историко-филологический институт на 40–60 человек, причём там же находилось и общежитие для всех студентов, которые жили там, как в монастыре, чтобы полностью оградить их от крамольного влияния со стороны населения.

Филологический институт был учреждён вместо прежнего лицея специально для подготовки вполне благонадёжных учителей для классических гимназий, из которых, в свою очередь, должны были выпускаться благонадёжные, не заражённые вольнодумными мыслями, чиновники. Третий этаж являлся инкубатором для искусственного высиживания птенцов с точно скроенной, штампованной душой. К нему вполне подходила кличка «живопырка». Студенты — бородатые дяди, все упакованные в форму, отпускаясь на прогулку в город только на строго определённый срок. Они не получали ни газет, ни журналов, не могли приносить с собой книг. По сравнению с ними мы, гимназисты, жили на полной воле-волюшке: от населения изолированы не были, гулять могли, не спрашивая разрешения.

<sup>1</sup> Состав преступления (лат.)

Правда, были подробные правила и инструкции, регламентировавшие внеклассное поведение учеников, были и специальные надзиратели, и добровольные соглядатаи из учителей, но вся эта слежка была малоэффективна.

Монументальное трёхэтажное здание гимназии с широкой парадной лестницей и красивым балконом, поддерживаемым восемнадцатью мощными белыми колоннами, обнесено было каменной оградой с решеткой, вдоль которой тянулись внутри двора аллеи белой акации и пирамидальных тополей. В весенние месяцы эти аллеи непрерывно оглашались пением бесчисленных соловьёв. Когда в мае или начале июня цвела белая акация, аромат её заполнял всю округу, проникал в классы, коридоры. На обширном, всегда сухом дворе, заросшем в главной своей части подорожником и трын-травой, посередине были устройства для гимнастических упражнений: шесты, наклонные лестницы, параллельные брусья и пр. К чести гимназии надо сказать, что уроки гимнастики и упражнений во дворе велись регулярно. После уроков до сумерек двор предоставлялся для игры в гилки (лапта), в городки и для других подвижных занятий.

Ещё большей любовью пользовался у нас примыкавший сзади ко двору большой тенистый, со многими пересекающимися аллеями и лужайками лицейский сад-парк, воспетый Гербелем. Парк был обнесён глухим высоким забором, за которым тянулись сенокосные луга и доходившая до окраины города роща. Глухой забор и даже сторож не могли служить препятствием тому, чтобы мы и до начала уроков, и поздним вечером, и в лунные ночи подолгу гуляли в этой роще и на отдалённых лужайках, с полной гарантией, что никто из начальства за высокий забор из гимназического сада не проникнет. Единственный раз за много лет я встретил здесь сидевшего на пне в глубоком раздумье нашего законоучителя Хайнацкого.

Зимой мы гонялись здесь за зайцами, не хуже гончих собак выслеживали их по следам. Когда мы жили на окраине города, мы с братом через эти луга и через постоянно заделываемую и с такой же настойчивостью восстанавливаемую нами дырку в заборе более чем вдвое сокращали свой путь в гимназию. В роще росли необычайно высокие дикие грушевые деревья. В осенние заморозки мы сбивали с них груши, бросая камни и палки. Это было прекрасным упражнением, заменявшим упражнения в метании диска, приносившим к тому же и непосредственную пользу.

Между гимназическим двором и рекой Остёр лежало заливаемое внешними водами, сильно заросшее тростником и кустами лозы, непроходимое болото. В нём водились дикие утки, по вечерам кричали коростыли-дергачи, слышалось пение очеретянки. Это обширное по пространству болото лежало, можно сказать, в центре города и придавало Нежину своеобразный колорит глухого, заброшенного, болотного захолустья. На другой стороне Остра, куда от гимназии можно было перейти по деревянному мосту, находились несколько церквей, в том числе Соборная и Греческая, центральная улица города — Мостовая и городская площадь перед собором. В бытность нашу в первом классе часть этой площади была отведена для постановки памятника Н. В. Гоголю, который с 1821 по 1828 год учился в Нежинской гимназии. В Лицейском парке на старых садовых скамьях, на почерневших столах и на коре стволов сохранились выдолбленные автографы Гоголя с

его инициалами или полной подписью. Запомнилась мне загадочная, глубоко вырезанная надпись:

«ra, ra, ra es et in  
ram, ram, ram ib»

с подписью Н. Г. Разгадка этой надписи:

«Terra, terra, terra es et in  
Terram, terram, terram ibis»

то есть «прах ты и в прах превратишься»<sup>1</sup>.

Открытие памятника Н. В. Гоголю проходило очень торжественно. Ученики гимназии были построены поклассно. Впереди — все высшее начальство, затем — классные наставники вели каждый свой класс. Перед нами шли студенты Историко-филологического института. На площади перед Собором уже стояли учащиеся женской гимназии и других учебных заведений. После молебна в Соборе нас подвели поближе к памятнику, где собрались прибывшие делегации. После нескольких речей, которые до нас не долетали — громкоговорителей ведь тогда ещё не существовало, — в сквере было гулянье до вечера.

Вспоминаю об этом только потому, что на следующий день все гимназисты были взволнованы тем, что «старшего Локтя» — он был тогда, кажется, в третьем классе — посадили по распоряжению директора на три дня в карцер за то, что кто-то из учителей застал его в беседке нового сквера, когда он не то целовал, не то обнял гимназистку. Карцера в то время уже не было, и Локтя посадили в пустой класс, приставив к двери сторожа. На стол поставили воду и положили кусок черного хлеба. Разумеется, несмотря на запрет, мы проходили мимо двери, стараясь подать голос Тимофею Локтю.

Река Остёр в Нежине течёт только весной, когда, разливаясь, залиывает прибрежные огороды. В остальное время года в реке, в выкопанном довольно широком русле, вода стоит. Русло это тянется через весь город на протяжении нескольких километров, и только через два-три километра за городом Остёр принимает свой натуральный вид протоков среди густых зарослей очерета-камыша-ивняка. Катанье на лодках-баркасах с плоским дном было очень распространённым среди гимназистов. Мы мечтали завести свою лодку, и в четвёртом классе нам удалось за ничтожную плату достать старый баркасик. Мы с Сергеем сами его законопатили, просмолили, подшили борта, исправили дно. Работали немало. Наконец дождалась и весны. Как-то, вернувшись с уроков, увидели, что Остёр вышел из берегов, лёд вспучило, он поломался, и по реке поплыли «криги» — большие льдины. Затем шли мелкие льдины, и мало-помалу река стала очищаться ото льда.

Не сказав ничего матери, мы после обеда спустили зимовавшую на берегу лодку на воду. Кроме весёл запаслись шестами, чтобы отталкиваться на мелких местах. Мы быстро плыли по течению, но вскоре лодку снесло на за-

---

<sup>1</sup> Екклесиаст, 3:20.

литый берег. С трудом справляясь с течением, мы наткнулись на залитый водой плетень, лодка перевернулась. Место было неглубокое, меньше чем по пояс, но нам никак не удавалось перевернуть лодку обратно. Держась за колья плетня, мы пытались тянуть её к берегу. Но усталость, страх и сильный холод вынудили нас бросить лодку у плетня, выбраться на берег и думать только о том, как высушиться и обогреться. Невдалеке было несколько домов. Мы зашли в ближайший и получили первую помощь, отжали воду, переобулись и, разжившись спичками, развели на берегу костер из сухого ситняка. Обсушившись около него и заручившись обещанием, что, как только вода спадёт, нашу лодку, крепко застрявшую у плетня, вытащат на берег, мы поспешили домой. И только позже рассказали о своем приключении.

Сергей, бывалый и привычный ко всяким неожиданностям во время охоты, проявил во время катастрофы большую выдержку. Я же пережил большое волнение и тревогу. Тем не менее, позднее, в старших классах, я систематически занимался упражнениями по гребле. Очень часто я видел, что так же, как и я, только на хорошей, щеголевато отделанной лодке, делает «моционеры» профессор-филолог Кириллов. Он приходил непременно со своей собакой, которая вскакивала в лодку первой. Собака имела замечательную особенность: своею походкой, всем своим видом она напоминала своего хозяина, имела с ним необъяснимое сходство. Я думал, что это только мое воображение, но многие мои однокашники считали так же.

Зимой мы совершали по льду реки далёкие прогулки на коньках. Обычно большой гурьбой неслись мы за город, там вооружались султанами из рогазы или длинными очеретинами и проносились через весь город домой.

Традиционной большой прогулкой целым классом за город каждый год была «маёвка» в лесу. Ближайший лес от Нежина был довольно далеко, верстах в десяти-двенадцати, а то и больше. Избиралась подготовительная комиссия. Она закупала всю необходимую для «майской каши» провизию, обеспечивала необходимую посуду: котёл для варки каши, ложки, самовар и стаканы для чая и пр. В один из дней, выделенных для подготовки к экзаменам, мы нанимали лошадь с возом, сами отправлялись в путь своей компанией пешим ходом. За городом прогулка оживлялась пением, бегом, собиранием цветов...

Однажды недалеко от леса увидели озеро. Многие повернули к нему. Одни вздумали купаться, другие, раздевшись, перебрались через воду на зелёный плав, погружавшийся в воду, когда на него вступали сразу два-три человека. Шум, весёлые крики спугнули сидевших на гнездах куликов. Были найдены в гнездах же яйца пугалиц, оказавшиеся ещё не насиженными. Нашли также гнездо дикой утки с яйцами, их оказалось более десятка. Великолепны были еще не сбросившие своего брачного разноцветного оперения туруханы. В лесу в полном цвету были ароматные желтоголовки — троллиусы. Распустились ландыши. Часа два мы углублялись в чащу леса, который становился всё гуще, а деревья — крупнее. Собрали изрядное количество сыроежек. Неожиданно наткнулись на дом с садом и огородом. В нём жил пожилой одинокий человек, обрадовавшийся нашей молодой весёлой компании. Он помог развести костёр, устроить котел. Мы достали воды из колодца и «специалисты» по майской каше принялись за своё дело.

В котёл, помимо всего закупленного — пшена, масла, свинины — пошли и взятые из гнёзд яйца, и собранные сыроежки. На табурете уже кипел самовар. Хозяин дома оказался интеллигентным человеком, толстовцем по убеждениям. Потерпев какую-то большую жизненную аварию, он захотел жить своим трудом и уже несколько лет жил в лесу в полном уединении.

Эта маёвка была в 1887 г., когда мы уже учились в шестом классе. Как ни зорко я следил, чтобы среди наших заготовлений и закупок не было бы никаких винных напитков, всё-таки, к моему большому изумлению и огорчению, на ковре появилось несколько бутылок вина, и охотников до них среди трёх десятков участников оказалось достаточно. Сваренная каша, а вернее густой суп со всевозможным приварком и обильным количеством зеленого лука, сорванного в огороде нашего пустынного, оказалась, разумеется, вкуснее всех кушаний, которые доводилось пробовать кому бы то ни было в жизни. Это подтверждал и деливший с нами наш пир в самом безмятежном и счастливом настроении наш хозяин-толстовец. Великолепен был и неожиданно составившийся хор, и все исполненные им песни имели оглушительный успех.

Как-то незаметно прошли первые месяцы 1889 года. Приближалась последняя весна нашей гимназической жизни. Всё более властно вступали в свои права тревоги, страхи и мысли о предстоящих выпускных экзаменах — «экзаменах зрелости». Заботила нас, помимо всего, дальнейшая судьба созданного нами кружка самообразования и всё возрастающего фонда запрещённых для гимназистов книг. Решение этой задачи, однако, было значительно облегчено тем, что за нами следовал класс, где был мой брат Сергей и целый ряд очень деятельных членов нашего кружка, таких, как выдающийся по своим способностям Талиев (позднее профессор биологии в Харьковском университете)<sup>1</sup>. В полном порядке мы передали им книжный фонд нашего кружка. Это было драгоценное наследство, о котором нужно было ежечасно заботиться, чтобы оно не превратилось в «закрытый скупостью и бесполезный клад», а было бы орудием пробуждения и формирования общественно-политического сознания у гимназистов.

За пять лет владения этим кладом в нас самих выработалось очень полезное чувство постоянной ответственности, чтобы ни одна книга не лежала бесплодно. Чтобы обеспечить непрерывность пользования каждой книгой, мы присматривались к товарищам по классу, к ученикам других классов, в особенности к новичкам, ежегодно переводившимся из других гимназий, преимущественно из Москвы и Петербурга, в нашу гимназию на казённую стипендию.

Некоторую тревогу внушал нам слишком выраженный крен в сторону естественных наук наших преемников — Талиева и других — и недостаточное влечение к общественно-политическим вопросам, к таким книгам, как «Азбука социальных наук», «Социальное положение рабочих», «Полити-

---

<sup>1</sup> Талиев Валерий Иванович (1872–1932) — ботаник, профессор Петровской сельскохозяйственной академии. Один из первых показал роль человека в истории растительного покрова. Автор первого «Определителя высших растений Европейской части СССР».

ческая экономия» Милля с примечаниями Чернышевского, статьи Шелгунова<sup>1</sup> и пр.

В 1882–1888 гг. в Нежинской гимназии существовали два, внутренне никакой общей целью между собой не связанные, враждующих лагеря. Один — начальство и учителя, другой — те ученики, которые входили в скрытый от недремлющего ока начальства кружок самообразования. Мир учителей — с полным оскудением личности, отсутствием интеллектуальных запросов и погружением в мелкое житейское прозябание, и мир нашего кружка, мир страстного стремления к знаниям, к расширению кругозора и приобщению ко всем завоеваниям свободной человеческой мысли, к борьбе против гнета и несправедливости людей.

У меня была наибольшая склонность к математике и естественным наукам и только в седьмом-восьмом классах весы стали склоняться в пользу поступления после окончания гимназии на медицинский факультет: куда ни сошлют, буду непосредственно полезен людям. А если и не сошлют, то все равно работа врачом — это лучший путь к сближению с населением. Но ближайшая цель — выстоять против всех утеснений и гнета катковско-победоносцевской гимназии, перенести все трудности, чтобы, получив аттестат, иметь доступ к живым источникам подлинного знания в университете.

Стремясь расширить круг пользующихся книгами, изъятыми из библиотек за их передовое направление, мы искали «читателей» не только в гимназии, но и за ее пределами. Так, помню, еще в четвертом классе, познакомившись поближе с молодым грамотным рабочим, пильщиком дров, я приглашал его заходить по воскресеньям к нам. Когда выяснилось, что он любит читать, знает стихи Шевченко, Никитина и Некрасова, я стал давать ему книжки «Отечественных записок».

Однажды ближайший мой друг Вячеслав Галяка рассказал, что, будучи в гостях у каких-то знакомых, он встретился там с гимназисткой, много говорившей о пустоте и безыдейности, скудости умственных запросов её соучениц. Ему казалось полезным привлечь её к чтению Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Но она жила в пансионе под неусыпным контролем. В указанный день я познакомился с нею. Её фамилия была Волошинская. Потом я передавал ей одну за другой книги из нашей библиотечки. Во время наших прогулок она с удовлетворением рассказывала о глубоком впечатлении, которое у неё оставили сочинения Писарева, роман Чернышевского «Что делать?» Но две-три недели спустя пришла не она, а одетая не барышней и не гимназисткой, а повязанная платком крепкая девушка, которая рассказала, что она читала книги, получая их от Волошинской; что классная дама нашла у Волошинской томик Писарева, до смерти запугала её и взяла с неё слово, что она больше никогда такого рода книг читать не будет. Пришедшая девушка, Королева, была человеком совсем друго-

---

<sup>1</sup> Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) — публицист, революционный демократ, участник революционного движения 1860-х, редактор журнала «Дело». Шелгуновская демонстрация 1891 года — первая политическая демонстрация русских рабочих — социал-демократов.

го склада. Она поведала, что живет в купеческой семье с родителями, но твёрдо решила после окончания гимназии вырваться из дома и добиваться высшего образования. Я познакомил её с некоторыми товарищами. Она была усердной читательницей наших книг и действительно по окончании гимназии уехала в Москву и там добилась приема на открывшиеся в то время фельдшерские курсы. Позднее я слышал, что она работала в одном из студенческих кружков.

Другой вопрос, который мы загодя, ещё до выпускных экзаменов, обсуждали и разрешили всем классом, был вопрос о групповой фотографии всего класса вместе с учителями. Настолько ясно сознавалось отсутствие необходимой моральной связи, единства моральных основ между нами и гимназическим начальством, которое не только не стремилось расширить наш кругозор, но, наоборот, по мере сил мешало нам на этом пути, что явилась мысль фотографическую группу на память о гимназических годах иметь без учителей. Она встретила в классе почти общее сочувствие. Мы выбрали инициативную группу, которая составила проект виньетки в виде широкой ленты, окаймляющей всю фотографическую группу с размещёнными на ней карточками каждого из тридцати двух учеников нашего класса. Ленту эту держал паривший сверху орёл и на ней был написан призыв Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ!» Мне казалось более скромным и более отвечающим нашим идеалам служения народу выразить на виньетке наше понимание цели образования словами Глеба Успенского: «На то на свете и живут умные и образованные люди, чтобы простой человек не погибал понапрасну». По желанию класса обе эти надписи были приняты. А в противовес оторванности классического образования от изучения основных наук об окружающем мире и природе в качестве орнамента на виньетке было решено дать не картинки из греческой мифологии, а орудия научного экспериментального познания, предметы химической лаборатории. Именно так и была изготовлена памятная фотография, но раздать её было решено только после действительного окончания гимназии и получения аттестатов зрелости. Помещать ли в общую композицию вместе с учениками их классных наставников и соглядатаев-учителей, украшать ли её эмблемами современной мысли и современных методов науки и высказываниями о предназначении представителей передового русского самосознания или цитатами из Цицерона и снимками Аполлона и Дианы — это дела вкуса и умонастроения тех, кто хотел иметь памятный снимок, а не начальственного усмотрения. Чтобы подчеркнуть, что мы не нарушаем тесные рамки дозволенного, на раскрытом томе сочинений Г. Успенского, красовавшемся на переднем плане виньетки, было четко написано: «Дозволено цензурой в 1889 году», как это и было в действительности. Кому же могла придти в голову мысль, что из-за этого снимка разыграется целая история? Вся последующая судьба нашей фотогруппы настолько характерна для того времени, что о ней стоит рассказать до конца.

Кончился полный волнения период выпускных экзаменов. С утверждения попечителя учебного округа были нам выданы долгожданные аттестаты зрелости. При этом начальство особо отметило исключительные заслу-

ги нашего выпуска. За всю историю Нежинской гимназии в нашем выпуске окончили с золотой медалью не один, а двое (одним из них был я) и трое — с серебряной медалью. В радостном настроении, можно сказать, в надежде славы и добра, разъехались мы на каникулы. В ожидании ответа о приёме в Московский университет я проводил время на хуторе «Попенки». Уже созрели вишни; в жаркий солнечный день, взобравшись на большое вишнёвое дерево, я с братьями спешно обрывал вишни, так как их объедали стаи скворцов. С дерева я увидел приехавших двух товарищей — Вячеслава Галюка с другом. Это было необычно, поскольку от Нежина до нашего хутора было более семидесяти верст. Друзья сообщили о непоправимой беде. Учитель Шарко увидел у своего сына, окончившего гимназию в нашем выпуске, нашу фотогруппу. Слова совершенно ему неведомого крамольного поэта Н. А. Некрасова показались ему настолько явно революционными, что, схватив снимок, он немедленно представил его директору Николаю Ефремовичу Скворцову, профессору и философу. Директор тоже решил выслужиться и, не жалея живота своего и жертвуя незапятнанной благонамеренной репутацией гимназии, направился с пресловутой фотографией в местное жандармское управление, где предложил произвести обыски у всех выпускников, отобрать у них фотогруппы, а самих выслать в Сибирь. Жандармский начальник, как тотчас же стало известно, крайне разочаровал директора, сообщив ему, что и Некрасов, и Глеб Успенский цензурой разрешены, а в цитатах, приведенных на фотогруппах, ничего нет крамольного или предосудительного. Что же касается указания директора, что орёл, парящий в облаках над группой, не двуглавый, то жандармскому управлению известно, что летающие в природе орлы имеют лишь одну голову и фотографу, имеющему в качестве украшения чучело орла, нельзя ставить в вину отсутствие у этого орла второй головы.

Потерпев а фронт там, где он думал заслужить лавры, директор-спаситель отечества стал действовать другими средствами. Он вызвал в гимназию всех выпускников и в присутствии всех учителей стал стыдить их за то, что они унизились до такого позора, чтобы вместо изречений древних писателей — Платона или Вергилия — поместить на фотографиях цитаты из подонков, газетных писаек, таких, как Некрасов, которого читают в трактатах потерявшие всякий стыд рабочие. Далее директор заявил, что, если в кратчайший срок не будут собраны и сданы ему все до единой фотографии, то он добьётся аннулирования аттестатов и, во всяком случае, разошлёт об окончивших такие характеристики, которые сделают совершенно невозможным поступление их в высшие учебные заведения.

По поручению всех побывавших у директора товарищей, приехавшие настаивали, чтобы я немедленно отдал им свою фотогруппу. Отказ в этом будет рассматриваться, как действие, подвергающее риску не только меня лично, а целый класс. Я, разумеется, группу отдал<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Захарий Григорьевич при жизни так и не узнал о том, что об его участии в распространении запрещённой литературы в гимназии, так же, как и об участии в этом его брата Сергея, было известно жандармам. О недавно найденных документах по этому вопросу см.: Приложение № 2.

Не без тревоги ждал я после этого сообщение из Московского университета с ответом на посланное мною прошение о приеме на медицинский факультет. Но, либо директор не осуществил своей угрозы об отправке туда неблагоприятной характеристики, либо в университете руководствовались моим блестящим аттестатом и золотой медалью, а не дополнительной характеристикой. Во всяком случае, вскоре, к моему успокоению, я получил извещение о зачислении меня в число студентов Московского университета.

В начале 1890 г. вместе с одним из студентов, лично знавшим известного адвоката Ярошенко, мы побывали у него и просили возбудить от нашего имени дело против директора Скворцова, который шантажом и запугиванием отнял у нас принадлежащие на вполне законном основании, как личная собственность, фотогруппы. Юрист обещал тщательно ознакомиться с делом. Но вскоре за участие в студенческих сходках в феврале 1890 г. я был выслан из Москвы под гласный надзор полиции. Только в 1894 г., заканчивая Дерптский университет, как-то вспомнили мы — я и живший совместно со мною на квартире К. О. Левицкий — о случившемся пять лет назад изъятии у нас фотогруппы. На всякий случай мы написали в дирекцию Нежинской гимназии заявление о возвращении нам нашей фотогруппы. И вот, спустя довольно долгое время, мы получили вызов к проректору университета профессору русской истории Бринкеру. Он под личную нашу расписку вручил нам изувеченные наши фотогруппы. В сопроводительном письме сообщалось, что снимки были «конфискованы» для уничтожения вредных и позорящих надписей. Вся виньетка со снимком орла и ленты была вырезана, а книга затушевана. Я рассказал профессору, какие были надписи, он не сразу мог понять и поверить, что могут быть такие недобросовестные (*gewissenlos*) педагоги в провинциальных гимназиях. Но вот сейчас, более шестидесяти лет спустя, когда я пишу эти строки, передо мной висит на стене эта «историческая» фотография, как вещественное доказательство, изобличающее классическую гимназию, служившую в руках реакционного министра народного просвещения Дмитрия Толстого орудием для полного отрыва от народа подготовляемых ею будущих «образованных» людей и превращения их только в источник пополнения бюрократического чиновничества.

Наше, и моё, в частности, отношение к заполнению всей гимназической программы классическими языками и, в особенности, их грамматикой, как к существеннейшей части мертвящей схоластической системы образования, определилось с первых лет пребывания в гимназии. Слишком уж очевидна была ненужность, бесполезность зазубривания слов и грамматических правил древних языков, на которых давно не говорит ни один народ, а то, что осталось от этих языков в виде письменных памятников, давно уже много раз издано в переводах на русский и другие современные живые языки. Зачем же главная часть времени и сил направлялась на эту схоластику? Этот вопрос вставал перед нами со всею неотступностью. И ответ на него сложился вполне определенный: для того, чтобы отвлечь наше внимание от изучения проблем современной живой жизни!

Но понимание ненужности заполнения программы классическими языками не мешало мне признавать одного из учителей, Абрамова, умевше-

го на построении латинской речи раскрывать логическую связь понятий, показывать развёртывание логического процесса мышления, путь к овладению не только латинским, но и всяким другим языком, учившего вслушиваться, вдумываться, не гнаться за словами, а познавать их смысл из связной речи, изучать новый язык, как ребёнок изучает впервые родную речь. Абрамов чувствовал ритмичность в складе речи и умел заставить нас почувствовать эту ритмичность у Овидия, Горация и Вергилия.

Одно воспоминание очень ярко сохраняется у меня о ходе выпускных экзаменов. Всё шло удачно и благополучно. Окрылённый надеждой на возможность получения золотой медали, пришёл я на письменный экзамен по русскому языку. В обширном актовом зале были расставлены на значительном расстоянии друг от друга тридцать два стола. Вошла торжественно комиссия. Были проверены все столы. Затем председатель комиссии распечатал присланный из округа конверт и громко прочитал тему для сочинения: «Влияние просвещения на нравственность людей». Были розданы заштампованные листы бумаги, которые нужно было вернуть по счету. Оставив надзирателей, комиссия удалилась. Проходил час за часом, а я не мог остановиться ни на каком плане и не мог начать писать. Уже многие сдали сочинение, а я ещё не брал пера в руки. Мною овладело полное отчаяние, всё уже казалось потерянным. Когда зал опустел уже почти наполовину, я, убедившись, что ничего путного со всего моего обдумывания трактата с введением, анализом исторического и современного материала и построением общих выводов не выходит, махнул на всё рукою и, считая, что всё равно всё уже пропало, написал заглавие, а под ним три строки программы:

1. Раскрытие содержания понятий в заглавии темы:

а) что такое просвещение;

б) что мыслится под нравственностью.

2. Условия, необходимые для благоприятного влияния просвещения на нравственность.

3. Пояснение на примерах из истории просвещения на Руси.

Не было уже времени обдумывать и переписывать начисто, так как актовый зал катастрофически быстро пустел. Я видел недоумение и тревожные взгляды дежурившего преподавателя и уходивших учеников и, не отрываясь, без необходимой критической оценки, строил все рассуждения дедуктивно, исходя из общих определений, а не обобщая, синтезируя изложенный сначала проанализированный материал. Пример заключительный — петровский период — образование и просвещение при Петре видимого влияния на нравственность не оказали. Положительный пример — просвещение от Карамзина и Державина до Пушкина и Гоголя — просвещение, направленное и проникнутое великими идеями о высоком призвании людей, о служении народу и государству; такое просвещение оказало глубокое влияние на общественные нравы и на создание высших образцов людей, движимых нравственными началами, таких, как Сперанский или Пирогов и другие.

С чувством полной катастрофы вручил я, кажется, предпоследним два мои использованные и все оставшиеся белыми листы. Провал казался бесповоротным. Кажется, пять дней прошло, пока стали известны, наконец,

результаты. Комиссия в целом была недовольна. Выделены было только три отличных сочинения и среди них на первое место было поставлено мое: по четкости, сжатости, логическому развитию темы и по высоким нравственным началам, положенным в основу всего сочинения. Больше, чем кто-нибудь другой я понимал слабость своего сочинения, и его успех у комиссии был воспринят мною без всякой радости и энтузиазма. Скорее, я испытывал чувство не то какой-то неловкости, не то глухих угрызений совести.

Тяжёлое материальное положение нашей семьи, когда одновременно в гимназии учились три брата и сестра Александра, вынудило меня очень рано стремиться к личному заработку. Постоянно присутствовало желание как-нибудь облегчить матери возможность сводить концы с концами при самой скудной нашей жизни. Будучи в четвёртом классе, я впервые принял предложение о помощи ученику первого класса Ване Леонтьеву. Это был хорошо упитанный, довольно избалованный, но очень любознательный мальчик. Мне было предложено, кажется, за шесть рублей в месяц, ежедневно проверять подготовленность его по заданным урокам и при необходимости давать разъяснения и помогать усвоению материала. Очень скоро Ваня заинтересовался занятиями. Мне удалось вызвать у него желание вести наблюдения за природой, собирать коллекции насекомых и растений. Проверяя его уроки по латыни, я рассказывал ему о римлянах и римской истории. Сам я любил решать всякие головоломки и задачи, отгадывать загадки и, мало-помалу возбудил и у Вани желание додумываться до решения задач и желание применять арифметические исчисления для получения ответа на появляющиеся вопросы. Например, какой высоты самое высокое дерево? Или, насколько или во сколько раз стоящая перед домом липа выше яблони или груши? Такие задачи приводили к необходимости наблюдать и мерить аршином (1 аршин = 71,12 см) в одно и то же время длину тени от самого аршина и длину тени от деревьев. Для таких измерений нужно было поработать и посчитать.

Несколько лет, не менее четырёх, продолжалось мое репетиторство с Ваней. Много лет спустя, уже в период моей жизни и деятельности в Петербурге, я часто встречался с Леонтьевым, закончившим высшее образование. Он часто бывал у меня со своей женой, и мы нередко вспоминали об интересе, который вызывали у него, так же как и у меня самого, наши занятия.

Начиная с пятого класса я был зачислен в казённые стипендиаты, но, поскольку уже пользовался репутацией хорошего репетитора, постоянно имел несколько уроков. Больше всего я любил заниматься с отстающими по математике — арифметике, алгебре, геометрии. Для меня было, в своём роде, делом спорта вызвать у ученика интерес к предмету и через два-три месяца сделать отстающего лучшим в классе. В последние годы пребывания в гимназии я даже на летнее время уезжал «на кондиции», т. е. на уроки по подготовке учеников к поступлению в то или иное учебное заведение, *Docendo dicimus*<sup>1</sup> — и, несомненно, эта работа закрепляла у меня самого

---

<sup>1</sup> Уча учимся (лат.).

знания по предметам моего преподавания, заставляла всегда добросовестно готовиться к очередным урокам, которые мне предстояло проводить. В то же время репетиторство было источником заработка, часть которого я сберегал, чтобы по окончании гимназии иметь хотя бы некоторые средства для поездки и поступления в университет.

Как я уже рассказал, каникулы после окончания гимназии были испорчены тревогой о том, что доношительная характеристика директора помешает поступлению в университет. С одним из товарищей, Белецким, я условился ехать вместе в Москву. В августе мы пустились в давно желанный путь к высшему образованию, за подлинными знаниями в свободно выбранных нами областях науки.

С отъездом в Москву разрывалась казавшаяся мне неразрывной связь, единство с моим братом Сергеем. До тех пор я не мог себя мыслить отдельно от него. В дальнейшем, говоря о моем жизненном пути, я уже не буду говорить о «нас», т. е. обо мне и Серёже вместе. Здесь, расставаясь с ним, я хочу попутно дополнить сведения о нём некоторыми фактическими данными.

Хотя меня в гимназии всегда считали старшим братом, в действительности Сергей был старше меня на два года. Он родился в 1867, а я — в 1869 г. Мне кажется, что лицом и вообще по внешности он совершенно не был похож на меня. В нём были резко выраженные черты сходства с нашей матерью, меня же всегда и все считали похожим на отца. И тем не менее, нас очень часто смешивали, принимали его за меня и наоборот. От отца он усвоил непреодолимую страсть к охоте, к приручению животных. Он всегда был общим любимцем в семье. Моя жизнь была спаяна с его жизнью вплоть до студенческих годов. У нас было всё общее: и друзья, и увлечения. Он всегда был более умелым, аккуратным. Невзирая на некоторую болезненность в раннем возрасте, он гимнастическими упражнениями и постоянными длительными прогулками развил в себе большую физическую силу и ловкость. По сравнению с ним я был более слабым, физически неумелым, нестройным и некрасивым. Но я с большим увлечением отдавался решению трудных задач по математике. Он мог многое смастерить, аккуратно и точно нарисовать план, географическую карту. Но многое в учёбе, латинский и греческий языки, математика мне давались легче, чем ему, и я всегда старался помочь ему. Пока, до четвёртого класса, мы учились в одном классе, я до такой степени чувствовал себя неотделимым от него, что, когда он затруднялся с ответом, у меня неудержимо текли слезы, и я мучился, что не могу этого скрыть. На почве охотничьих увлечений у Сергея завязывались некоторые отдельные знакомства, но вообще в течение всей гимназической жизни мы были едины и неразлучны.

По окончании гимназии он поступил на естественный факультет Киевского университета, который и закончил без задержки, годом раньше меня. Написал работу по геологии. Вслед за тем был преподавателем физики в Полтавском кадетском корпусе и в Полтавской женской гимназии. При поездке своей за границу виделся в Швейцарии со знакомыми эмигрантами. Этого было достаточно, чтобы по возвращении потерять место преподавателя. В университете наиболее близким его другом был

В. Н. Крохмаль<sup>1</sup>. Через меня в Киеве он познакомился с Дегенами — Анной Николаевной и Евгенией Викторовной и с Косачами — Лесей Украинкой, будущей выдающейся поэтессой<sup>2</sup>.

Весной 1897 г. Сергей приезжал ко мне в Новую Ладогу. Он был большим любителем природы, особенно украинской.

После женитьбы он служил учителем физики и математики в железнодорожном училище под Харьковом. На полученном через кооператив участке земли в поселке «Высокий» под Харьковом построил он себе дом, разбил собственноручно чудесный фруктовый сад и жил там, продолжая до самой своей смерти в 1937 г. учительствовать. Он приезжал ко мне после революции в Ленинград с экскурсией учащихся, а затем и отдельно летом 1928 г. Был хорошо принят Екатериной Ильиничной в Детском Селе, участвовал в прогулках с Иликом по парку<sup>3</sup>. Я несколько раз бывал у него в посёлке Высоком. В последний раз мы виделись в 1936 г. в Остре, куда я приезжал с сыном, чтобы повидать моих сестёр Веру и Соню.

Мрачной и тяжелой страницей в моих воспоминаниях, относящихся к периоду учёбы в гимназии, является большая беда, случившаяся со старшим братом — Яковом. Он уже оканчивал в то время горно-штейгерское училище в Лисичанске, в Донбассе. Казалось, он нашёл свой путь. Увлечён был практической работой в забоях и в соляных коях. Он привёз нам целую коллекцию образцов горных пород, великолепные огромные кристаллы соли и горного хрусталя, когда приехал на каникулы перед выпускным экзаменом. Весело и беззаботно участвовал с нами в рыбной ловле и даже показал опыт глушения крупной рыбы глубоководным взрывом небольшого патрона, ходил с Сергеем на охоту.

После его отъезда очень долго не было от него никаких вестей, и лишь через много месяцев (я был в то время в пятом классе) было получено от него письмо с широкими жёлтыми полосами и со штампом Петропавловской крепости. Оказалось, что уже несколько месяцев он сидел в ней<sup>4</sup>. Не

---

<sup>1</sup> Крохмаль Виктор Николаевич (1873–1933) — социал-демократ, марксист, агент «Искры», руководитель Киевского комитета РСДРП. Подвергался арестам, бежал, работал за границей. После II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам, много лет представлял их в РСДРП. После Февральской революции входил в состав различных комиссий Временного правительства, бюро ВЦИК и других политических органов. К Октябрьской революции отнёсся резко отрицательно и в 1918 прекратил политическую деятельность.

<sup>2</sup> По семейному преданию, Сергей Григорьевич был помолвлен с Лесей, но незадолго до свадьбы он влюбился в одну из своих учениц, на которой женился, как только она достигла совершеннолетия. Его избранница Елена Брунзель (полунемка) была на 13 лет моложе Сергея. Брак этот был очень счастливым. Но Захар Григорьевич осудил брата за разрыв с Лесей и отношения их охладились.

<sup>3</sup> Екатерина Ильинична Мунвез и Илья — фактически вторая семья (жена и сын) Захария Григорьевича, много лет существовавшая параллельно с первой. После смерти первой жены в 1948 вторая семья обрела статус официальной.

<sup>4</sup> Яков Григорьевич был арестован в 1885 по так называемому «делу 21-го» или — Лопатинскому делу. Герман Александрович Лопатин (1845–1918) — революционер, народник, друг К. Маркса и первый переводчик «Капитала» на русский язык. В 1884 он был главой Распорядительной комиссии «Народной Воли». По обвинительно-

было предела слезам и горю матери. Только приехав на каникулы, мы решились рассказать об этой беде отцу. Он, однако, уже знал об этом, так как у него в Борках, где он служил управляющим, был произведён жандармский обыск для осмотра вещей и переписки брата.

Прошло более двух лет, из Петропавловской крепости приходили каждый месяц письма более или менее стандартного содержания. От тоски и тяжелого одиночества Яков стал писать украинские стихи, в которых выливал свою душевную боль. Отец опасался, что когда узнают в гимназии, это отразится на нашем с братом положении. Весь срок пребывания брата в крепости был для нас безрадостным временем, полным тревоги и боли за него.

Было несказанно светлой радостью, когда из напечатанного в газете короткого сообщения о состоявшемся в 1887 г. приговоре по делу Г. Лопатина<sup>1</sup> мы узнали, что наказание, назначенное брату, покрывается его почти трехлетним предварительным заключением в крепости. Еще больше было радости, когда летом приехал брат, исхудалый, обросший бородой, но бодрый, неунывающий. Когда он готовился к выходу из тюрьмы, ему передали с воли шубу. По договоренности с Якубовичем<sup>2</sup>, сидевшим в соседней камере и находившимся в постоянном общении с братом путем перестукивания, для выноса на волю брат зашил во всех швах шубы переданные ему через тюремного надзирателя на очень мелко исписанных листах тонкой бумаги стихи Якубовича для их издания. Я был посвящен братом в это дело. Мы извлекли стихи из швов, переписали их и позднее послали их в Петербург, где они вышли отдельной книжкой под псевдонимом, если не ошибаюсь, Мельшина.

Брат очень скоро физически окреп. Он чувствовал себя до некоторой степени героем, с ним знакомились местные барышни, и через два месяца начал складываться роман. По настоянию отца он взял в аренду небольшое хозяйство, и его роман благополучно закончился браком<sup>3</sup>. Позднее Яков жил в Киеве, примкнул к революционному движению, организовал и успешно осуществил в 1905 г. побег из киевской тюрьмы М. М. Литвинова (будущий известный дипломат, министр иностранных дел СССР), потом работал под кличкой «Дид» в большевистской группе<sup>4</sup>. После Октябрю-

---

му акту Якову Френкелю было вменено в вину то, что он с другими революционерами изготовил в Луганске заряженные динамитом метательные снаряды, предназначенные для преступных целей партии «Народной Воли». Найденные недавно архивные документы по этому делу см.: Приложение № 3.

<sup>1</sup> Лопатин был приговорен к вечной каторге и до 1905 находился в Шлиссельбургской крепости.

<sup>2</sup> Якубович Пётр Филиппович (псевд. Л. Мельшин) (1860–1911) — поэт; как революционер-народоволец отбывал в 1887–1903 гг. каторгу и ссылку.

<sup>3</sup> Женой Якова Григорьевича стала дочь священника Евдокия Николаевна Пригоровская. Но в одной из справок Жандармского управления есть сведения, что его женой была сестра В. Н. Крохмаля.

<sup>4</sup> В документах Главного жандармского управления хранится много интересного материала о революционной деятельности «Дида» в киевский период. См.: Приложение № 4, а также воспоминания сестры Якова Григорьевича и Захария Григорьевича — Евгении Григорьевны Левицкой в книге «Две тетради Евгении Левицкой. Письма автора «Тихого Дона» — публикация Льва Колодного. М., 2005.

ской революции жил под Москвой и умер в 1936 г. от несчастного случая, попав под поезд.

Летние месяцы в гимназические годы, в 1884–1887 гг., я проводил в Борках, где в эти годы служил управляющим отец и жила с ним вся наша семья. Я, как и брат Сергей, проявлял большой интерес ко всем мероприятиям по улучшению сельского хозяйства, которые задумывал и осуществлял отец. В особенности моё внимание привлекали планы отца по обращению в сельскохозяйственные угодья земель, числившихся в планах и описях «неудобными». К ним относились обширные, занимавшие многие десятки гектаров, глубокие пески, совершенно лишённые растительности. Летом ветры вздымали с этих пространств облака песчаной пыли, заносившей посевы на других возделываемых участках. Среди этих песков в расстоянии пяти-шести километров от «Борковской экономии» отец заложил отдельный хутор. Построен был дом и хозяйственные постройки, поселены несколько рабочих с семьями, устроен колодезь. К зиме в скотном дворе ставился скот для откорма привозимыми из Борков корнеплодами, отрубями и заготавливаемым на месте силосом из люпина, вики и других культур, которые разводились на мелиорированной песчаной пустыне. Под глубокую вспашку плугом была с осени посажена на многих гектарах «шелюга». Были приняты меры для снегозадержания, участки засажены лозой. Опыт удался, лоза стала разрастаться, и полосы между ней удалось удобрить навозом, отчасти полученным на месте от содержавшегося на хуторе скота, отчасти — привезённым из экономии. Большие полосы были засеяны люпином, который в качестве зеленого удобрения был до наступления жары летом запахан. Отец постоянно ездил в это новое зарождавшееся хозяйство, и я всякий раз был его спутником. Подолгу мы ходили и объезжали голые песчаные участки, мерили шагами низины, где были остатки болотных зарослей. На некоторых из них по указанию отца рылись затем пруды, выкачивался торф для подстилки в скотном дворе, закреплялись берега посадкой шелюги, а потом ольхи. По-видимому, отца увлекал процесс обращения этих вредивших на многие километры голых пространств в пригодные земли.

У меня ещё с тех пор появился стойкий интерес к мелиоративным работам, в результате которых наступали очевидные полезные для людей изменения в местности. Когда через два-три года на бывших голых песках снимался первый урожай вики или овса или даже кое-где картошки — это вызывало радость у отца. У поселённых в новом фольварке семейных рабочих появились у дома кусты красных «поречек» (смородины), крыжовника и молодые деревья черешен. Особенно отчётливо остаются у меня в памяти задуманные отцом и успешно осуществлённые работы по осушке большого топкого болота и прокладка через него дороги до реки Остёр и сооружение моста через эту реку. Дорога почти вдвое сократила путь до нового хозяйства.

В самую сухую часть лета постоянно заходившие в поисках работы «грабари» были наняты копать канавы по местам, намеченным вехами, поставленными самим отцом, через все болото. Тяжёлая это была работа. Сняв кочки и верхний слой, грабари, оставляя узкие поперечные перемычки, заглубляли широкие с пологими откосами канавы на два-три аршина

(1,5–2,1 м) в направлении к реке. Приходилось высоко поднимать вынимаемую землю, стоя иногда по пояс в воде. Оплачивалась эта работа сдельно, с вынудой кубической сажени земли. Велись две параллельные канавы с расстоянием три сажени между ними (около 6,5 м). После подсыхания «принятая», т. е. уже учтённая, земля разравнивалась между канавами. На неё насыпался слой привозимого песка и сверху слой «глея» — болотной глины. Число рабочих менялось. Каждый из них «рядился» (договаривался) поодиночке. Однажды добавилось три новых грабаря. Всегда увлекавшийся ходом задуманных им работ, отец при всякой возможности старался зайти посмотреть на сооружаемые канавы, на рождавшуюся между ними дорогу. От его внимания не ускользнуло, что двое из новых грабарей работают с большим старанием, а третий, хорошо устроившись на сухом месте, то лежал, то сидел и курил. «Почему работают все одни и те же, а вы их не сменяете?» — На этот вопрос последовал ответ, приведший отца в негодование: «Это мои рабочие, я их подрядчик». Была совершенно очевидна бессмысленная, ненужная эксплуатация людей: половина всего заработка каждого рабочего шла в руки этого посредника-«подрядчика», в то время как все другие работники, трудившиеся тут же, рядом, получали свою дневную выручку полностью в руки. Гневно потребовал отец, чтобы этот «подрядчик» убирался прочь. Он ушел, но увел и своих рабочих. Оказалось, что они были им закабалены, так как, уходя на заработок из Смоленской губернии, взяли у него задатки, чтобы уплатить «мирские» подати (налоги).

Уже в ближайшие годы прорытые вдоль новой дороги канавы со стоком в реку Остёр настолько успешно «вытягивали» воду из прилегающей части болота, дренировали его, что с обеих сторон дороги оказалось возможным начать разбивку капустных гряд. Я не знаю, когда и у кого научился отец мерам по мелиорации болот и заболоченных мест. Думаю, что в этом деле он был самоучкой и пытался, далеко не всегда успешно, применять на практике советы и опыты, описываемые в «Сельском хозяине», «Земледельческой газете» или в приобретаемых им книгах. Осуществляя зарождавшиеся у него новые планы, отец учился в самом процессе их выполнения, тщательно учитывал и записывал данные о результатах проведенных мелиораций.

За лесом «Бураковщиной» тянулись заболоченные кочковатые пространства, поросшие осокой. Отец задумал выкопать там пруд, провести целую сеть канав для спуска весенних вод в глубокие рвы, тянувшиеся вдоль большого «тракта» — дороги от города Козельца до города Остёр. Года через два после осуществления этого плана отец с торжеством подсчитывал окупаемость произведенных расходов: с лугов снимались большие укосы теперь уже не осоки, а райграса, лисьего хвоста и других кормовых трав. После окончания косовицы отец устроил на опушке «Бураковщины» «кашу» для косцов с участием и других служащих экономии. Мы с Серёжей в это время увлекались пиротехникой и, хотя наши ракеты и не очень охотно летали ввысь, но бенгальские огни имели огромный успех у невзыскательной публики.

Украинские хлебоборобы и селяне большие скептики. Ко всяким новшествам в сельском хозяйстве, как правило, поначалу относились как к «паньским выдумкам». Но и на них произвел впечатление один из наиболее

удачных опытов в Борковской экономии. Однажды отец задумал обратить в пашню небольшое топкое болото, заросшее очеретом (тростником) и местами покрытое толстым слоем мокрого торфа. Создав систему отвода воды из болота и подсыпав его кое-где землей, вырытой при рытье пруда, отец поджёл кучи очерета и сухого торфа. Дым от этого пожарища стоял несколько дней. Затем были прорыты вдоль и поперек мелкие канавки. Была строго отмерена одна десятина осушенного болота, её вспахали и в августе засеяли рожью. На следующее лето мы ходили любоваться ровной, чистой, без всяких сорняков, высокой рожью, выросшей вместо прежнего очерета. В июле мы с братом приняли участие в жатве этой ржи. Было нажато пятнадцать копен, по шестьдесят снопов в каждой, и пробный умолот оказался равным двенадцати пудам с копны, то есть 180 пудов (около 29 центнеров) с десятины. Выстроенные в ряд через всю десятину, аккуратно сложенные копны были победным свидетельством пользы от проведенной мелиорации. Вот где корни моего систематического внимания и придания большого значения санитарной мелиорации в гигиене строительства и благоустройства населённых мест. Вопросы санитарной мелиорации территорий стали предметом моего специального изучения и преподавания в курсе коммунальной гигиены.

С большим удовлетворением вспоминаю я, что во время постоянных летних поездок с отцом на беговых дрожках в места песков, закрепляемых и осваиваемых для сельскохозяйственного использования, и частого сопровождения отца на работы по осушке болот, мною была одержана одна победа, доставившая мне большую радость. Это победа над закоренелой привычкой отца к курению. Много раз хотел я объяснить себе, откуда у меня с самого раннего детства было непреодолимое отвращение к бессмысленной, явно вредной привычке портить воздух курением, когда в моем окружении были курильщиками и отец, и старший брат Яков, и часто бывавшие гости, и те рабочие, с которыми я так любил общаться. Самый вид окурков или папирос, гари из трубки вызывал у меня гадливость, как бы я ни старался её подавить. Я каждое лето настойчиво, но безуспешно убеждал отца освободиться от этой гадкой привычки. К числу моих аргументов позднее, в период моего увлечения гигиеной и интереса к учению Льва Толстого о рациональном построении жизни в соответствии с требованиями разума и совести, я добавлял доводы о сохранении личного здоровья, о внимании к здоровью окружающих, пускал в ход всю цепь гигиенических доводов и, наконец, добился результата: отец решил бросить курить! В это время ему уже было более пятидесяти лет. Трудно ему было выполнить это решение, но он выдержал искушение и во всю остальную жизнь не возвращался к вредной привычке и признавал все преимущества своего освобождения от неё.

В летнее каникулярное время в Борках одним из больших моих увлечений были плавания на лодке в отдалённые места вниз и вверх по Остру. Так же, как и в Нежине, у нас с братом и в Борках завелась собственная лодка-плоскодонка на две пары уключин. Мы её постоянно чинили, конопатили, смолили, то наращивали борта, то переделывали уключины. Мы добивались самого лёгкого хода и одновременно устойчивости и грузоподъёмности. Последняя была необходима, когда в летние лунные вечера с нами

ехали кататься и сёстры, и знакомые. Мы плыли до Кошанов, где река протекает среди густых зарослей. Там громкое пение украинских песен, разносившееся с нашей лодки, не могло причинить никому беспокойства, так же как и наши громкие споры, оживлённые разговоры или стихи Некрасова, которые я по желанию всей компании декламировал. Декламировал я и Шевченко, и Якубовича, а то под сурдинку и некоторые революционные стихи безымянных авторов. Большое количество этих стихов к немалому моему удивлению удерживается в моей памяти и до сих пор, как никому не нужный балласт.

Нередко лодка служила мне и для полезных дел. Я отвозил Серёжу дальше на охоту и, пока он стрелял бекасов или дупелей, издали созерцал природу. Смотрел, как в мёртвой стойке замирал сеттер, и как падала после взлёта птица при появлении из ружья дыма. А то собирал для пополнения гербария болотную флору. К охоте я был безнадежно неспособен, а для оправдания в собственных глазах этой неспособности ссылался на жестокость и бессердечность охотников к подстреленной дичи. Так же неудачлив я был и в рыбной ловле. Бывало, с вечера, так же как и брат, наготовлю живцов-вьюнов, пескозобов, плотвы, направлю удочку. На рассвете едем с Сергеем на «греблю» ловить на «круче» окуней. Время незаметно уходит, начинает припекать поднявшееся солнце. Садимся в лодку в обратный путь. У Серёжи связка больших окуней, штук пятнадцать-двадцать (малых он бросал обратно в воду), а моим трофеем были пять-шесть небольших окуньков и ни одного крупного. Такая уж была моя доля, с которой я давно примирился, и был вполне счастлив, что рыбная охота удачна благодаря большому улову Серёжи.

Регулярно использовал я лодку для оказания дружеской услуги сторожу Аврааму Пальчику, от которого, как когда-то в очень раннем детстве от «дида» Митра Ремеза — маленького сморщенного старичка, я слушал нескончаемые рассказы про «прежних панив» и про живых приказчиков, объездчиков и других угнетателей сельских людей. Сторож не обедал и, формально, не ел в общей кухне (на деле он всё же получал остатки от кухарок), а получал «в отсыпную» из конторы по ордеру ежемесячно по два-три пуда провизии из лавки экономии. Тогда ему нужно было доставить эту провизию домой, а жил он, как и все его однофамильцы, в селе Пальчики, в нескольких верстах вверх по Остру. Сам он был хотя ещё и не очень старый, но слабосильный. Лодка моя имела причал в укромном месте под склонившейся к самой воде ивой. Авраам в два приёма приносил свою кладь под иву, мы грузились и садились в лодку, он — на руль, я — на весла. Я гнал лодку до гребли. Там мы перетаскивали кладь и лодку через греблю и плыли дальше до Аврамова села. Там я всегда был желанным гостем. Жена Авраама угощала меня «огородиной», то есть огурцами, ягодами. Любил я ласкать и угощать пряниками хлопчика и дивчину — небольших детей Авраама, которые всегда встречали своего «тату» у берега.

Не всегда катанье на лодке доставляло одно удовольствие. Помню, будучи уже в седьмом классе, я один, без Серёжи, приехал на пасхальную неделю в Борки. Было большое весеннее половодье. Вода прорвала греблю, подмыла берег, на котором стояла хата. Хата завалилась в воду. В течение

двух дней вода тащила эту хату мимо экономии. Потом мне показалось, что главная масса воды уже прошла. И я спустил лодку, уселся за весла, но не успел отчалить от берега, как попал в быстрый поток. Несмотря на все мои усилия и попытки направить лодку вверх, её с неудержимой скоростью несло вниз по реке. Для меня стало ясно, что, ударившись о ледорезы моста, я неминуемо погибну. Разлив был широк. Всё-таки каким-то чудом я вырвался из главного потока и смог направить лодку на замеченную мною, намытую при прорыве гребли песчаную отмель. Лодка врезалась в песок. Чтобы удержать её, я с невероятными усилиями воткнул в песок весла. Я видел, как вода размывает песок. Но вот с отдаленного берега меня заметили. Двое крепких борковчан добрались до меня и доставили вместе с лодкой к нашему причалу. Мне было до боли совестно, что я доставил столько беспокойства своим избавителям. Дня три после этого я страдал «дизентерией» — колитом с кровью, что вызвало большую тревогу родителей. Но всё обошлось благополучно, я в срок вернулся в Нежин.

В последние гимназические годы значительное место в моём чтении занимал возникший на смену «Отечественных записок» журнал «Северный вестник» и начавшие выходить отдельными изданиями сочинения Глеба Успенского, Н. Шелгунова, Н. К. Михайловского. Много раз перечитывал я Л. Н. Толстого, причем особый интерес возбуждало у меня отражение в его произведениях коренного вопроса о согласовании всех своих действий и деятельности со своими взглядами, с основным началом признаваемой им правды.

Наступило время отъезда в Москву. Ехали мы вместе с одним из товарищей, В. П. Белецким, поступившим на юридический факультет. Мы ехали загодя, имели поэтому время сделать в пути остановку на день в Курске, чтобы посмотреть этот город и непосредственно повидать закулисные стороны одного из очень известных монастырей в России — Корнеевского монастыря. В этом монастыре уже несколько лет пребывал в качестве монаха дядя Белецкого. Когда-то он очень любил своего маленького племянника. Теперь ему захотелось увидеть его взрослым. Он пригласил Белецкого непременно навестить его проездом. Я остался на вокзале, а мой попутчик отправился к дяде. Очень скоро он вернулся, настойчиво принуждая меня вместе с ним отдохнуть до завтрашнего поезда у его дяди, который, узнав о том, что на вокзале остался товарищ, и слышать не хотел никаких возражений и потребовал немедленного приглашения меня к обеду.

В монастыре мы имели возможность убедиться, как уютно и удобно живут принявшие монашеский сан дворяне, ушедшие от мирских забот и волнений. «Кельей» отца Павла, куда мы вошли, была комната, хорошо обставленная мягкой мебелью. На столе появились кушанья, а затем из особого погребка, скрытого в стене, были извлечены и бутылки с виноградными напитками. Настойчивость радушного хозяина, совсем еще не старого человека, при угощении была столь велика, что даже мне, врагу «виноградных» напитков, трудно было отстоять свою линию. Хозяин был образованный, тонко воспитанный человек. Он умело отклонял некоторые наши неуместные вопросы и направлял разговор в сторону описания Москвы, которую он знал, о предстоящей нам студенческой жизни и т. д. Однако и без его

ответов на наши вопросы об условиях «благочестивой» и «богобоязненной» жизни, пробыв у него до следующего утра, мы могли убедиться, что монастырский режим, если не для всех, то, во всяком случае, для избранных, вполне нейтрализуется соответствующими коррективами. После возвращения с вечерни наш гостеприимный хозяин вместо того, чтобы предаться молитве, устроил для нас за закрытой дверью и спущенными шторами весьма богатую закусками, а потом и сладостями вечернюю трапезу. И наша довольно оживлённая, вполне светская беседа затянулась далеко за полночь.

Отдохнув и подкрепившись в монастырской обители, мы утром ознакомились с достопримечательностями монастыря и, наконец, распростились с нашим благодушным и гостеприимным хозяином, чтобы успеть до отхода поезда побродить по городу. Очевидно, достопримечательности Курска не были выдающимися. Сейчас я убеждаюсь, что в моей памяти не осталось никаких следов от полученных при прогулке по городу впечатлений.